

**СЕРГЕЙ  
АЛЕКСЕЕВ**

СКОРБЯЩАЯ

ВДОВА

Сергей Алексеев  
**Скорбящая вдова**

«Алексеев Сергей»

2004

## **Алексеев С. Т.**

Скорбящая вдова / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 2004

В тот год, когда люд православный уже крестился тремя перстами, Стенька Разин собирал разбойное войско, а царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, вознамерился взять в жены красавицу Наталью Кирилловну из рода Нарышкиных, было молодой вдове Феодосье Морозовой, придворной боярыне, видение. Явился ей пустозерский узник Аввакум и предрек рождение в царских палатах антихриста, который погубит Третий Рим. И к подвигу призвал: велел разузнать судьбу приданого Софии Палеолог, привезенного некогда из Византии на сорока подводях. Ведь кто завладеет тем приданым – вознесется над миром и титул императора примет...

© Алексеев С. Т., 2004

© Алексеев Сергей, 2004

## Содержание

1	5
2	15
3	19
4	23
5	29
6	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Сергей Алексеев

## Скорбящая вдова

### 1

От духоты июльской и дыма смрадного, который по ночам затягивал Москву до куполов церковных и, поднимаясь к небу, туманил звезды, Скорбящая страдала: ни век сомкнуть, ни придремать с открытыми очами. Все окна в тереме, а вкупе с ними двери давно уж запечатали, как в стужу, и без нужды не отворяли. Однако запах гари сочился отовсюду – чрез стены, потолки или вовсе из подвалов, и вместе с жаром заполнял весь дом. Чудилось, сей дым не от болот горящих, и зной не от земли, днесь раскаленной солнцем, – все от пожара, и стольный град в огне. Служанки простыни мочили и вешали в палатах, передевали в мокрые сорочки и прыскали водой. У ног и в изголовье стояли девки с полотнами в руках, махали, поднимали ветер – все напрасно!

– Зевайте же, зевайте! – боярыня просила. – Авось и сон придет.

Натужно иль с охотой зевали девки. Рты разевали токмо или с подвывом, сладко, до хруста челюстей, и потягивались, с ленцой и томностью. Бывало, и дремали стоя, роняли опахала, но сон ее не брал. Напротив, становилось жарче, и от пота сорочка липла к телу. Не радость и покой она вкушала, не благодстную тишь опочивальни – суть омерзение!

Тогда Скорбящая гнала всех прочь, вставала с ложа и молилась пред образами, при одной лампадке, поскольку жар свечей казался нестерпимым. И так в молитвах и поклонах зарю встречала, глаз не сомкнув ни на мгновенье, однако при сем испытывала бодрость и силу вдохновенья весь Божий день.

Но с сумерками и наступленьем ночи все повторялось вновь.

Однажды за полночь, когда сквозь смрад пробился шум и шелест и ветер заиграл дубравой по Басманной, почудилось – студеный он, как будто бы зимой! То ль свет смутил неверный, то ль синий хладный дым... В тот миг окошко распахнула, подставилась, раскинув руки...

И ощутила зной.

– Помилуй, Пресвятая! – воскликнула с надеждой. – Душа изнемогла, нет боле мочи...

– Сними одежды, – ей голос был. – И почивать ложись.

Смущаясь и с собою споря, Скорбящая стянула плат с волос, шнурочки распустила и обнажила плечи, веригами обложенные.

Чуть уж сорочку не сняла, ан спохватилась и прикрыла грудь.

– Возможно ль без одежды? Стыд какой...

– Возможно, преблагая.

– Да я же в скорби! Грех...

– Не плоть томится от жары и смрада – душа терзается. Ее и обнажи, избавь от рубища, ложись и спи. Я храню тебя.

– Но кто же ты?

– Я ангел твой. Ужели не признала? Да вот он я, позри.

Горячий ветерок тихонько вплыл в окошко и засветился вдруг, как нимб иль полумесяц. Прохладой опахнуло, духом весенних трав, и вместе с ними утраченный покой пришел в опочивальню. И не колеблясь, боярыня спустила вниз сорочку, оставила ее, как выползок змеиный, и шагнула к ложу.

– И вериги сбрось, – снова голос. – Вон как истерла тело...

– Нельзя мне без вериг, – промолвила она, ощупавши рукою суровые узлы. – Телесный жар, томленье, грезы...

– Поелику душа живая. Ужели хочешь, чтоб на ней рубцы и язвы были, что на плоти?

– Нет, не хочу... Да и боюсь сего!

– Сними и брось.

– Но как одолею искусу? Чем потушу огонь, палящий вдовью душу? И существо?..

– Владыка мой! – печалуясь, взмолился ангел. – Рагуя за Тебя и святости ища, сия жена становится безбожна. Твой промысел, огонь животворящий ей чудится греховным! Так вразуми ее, дай знак. Не то с водою грязной и чадо выплеснет...

В тот миг крепчайшие узлы распались, и сеть из вервей конских осыпалась к ногам. И стиснутая грудь, изъязвленные перси расправились, но сквозь коросты, будто млеко, кровь просочилась...

Ей утрашиться бы, да к образам – она же вздохнула вольно, рукой коснулась ложа, подломила и, повалившись томно, мгновенно облачилась в сон.

Однако сквозь веки ей неотступно зрим был тот золотистый свет – суть ангельский, а к нему, подобно нити серебра, приплелся звук пастушьей дудки, глухой и чуть печальный.

– Кто так играет чудно? – как будто бы спросила.

– Се не игра – душа твоя воспела, – шепнул на ухо ангел. – Се глас души...

– Вот если б не во сне, а наяву послушать... Однажды ночью ко мне явился странник...

На дудочке играл...

– Ужели помнишь? Минуло столько лет...

– Шесть лет и двадцать пять недель...

– Ну что ж, добро. Коль жаждешь наяву – услышишь скоро. А в сей час внимай всему, что сон тебе принес.

Скорбящая не ведала, сколь долго продолжалось диво: минуто-две иль день-другой. Когда же очи отворила, увидела восход и серый дым, и в тот час вкусила гарь и душный зной – все то, что прежде было. Но ощутила не свет сияющий – горящий взор.

– Кто здесь? – спросила и замерла. Взгляд был мужской, пытливый, недовольный...

– Как ты посмел войти? Ты кто?

– Я – твой отец духовный...

– Помилуй Боже!.. Откуда ты? И кто впустил в опочивальню?!

– А сам вошел! – Тень Аввакума в изголовье чуть выросла и расплылась. – Лежишь тут...

Вид срамной! Вериги!.. Где власяница?

– Право, не знаю. Вросла, должно быть, в тело...

– И окошко настезь! Вон дыму напустила!.. Кому открыла? И кого ждала?

Скорбящая в сей миг приуныла, но гордость не уняв, со вздохом обронила:

– Мне душно сделалось. И чудилось, пожар...

Словно забыла, что ангел ей являлся.

– Когда довлеет плоть – молиться след! Не тело баловать, но душу.

– Молилась я...

– В сем образе молилась? Вериги снявши?.. Тьфу, стыд какой! Хотя бы срам прикрыла!

– Никто ж не зрит. – Она чуть потянулась. – А ты – суть призрак... Сон.

– А ежели я есть? Стою живой?

– Да полно... Когда ты снишься, я все гадаю: к добру ли, к худу... И вот в сей час... Ты с чем ко мне явился?

– Накинь покрывало! – взмолился он. – И не ввергай во грех! Блудница...

– Ужель под своим кровом?.. В опочивальне?.. Ужель я в доме не хозяйка? – Боярыня, однако, натянула простынь и укрыла плечи.

Скуфейку сняв, отец духовный огладил волосы, привычною рукой хотел поправить цепь на шее, однако не было ее. Лишившись сана, он не отвык еще от знака власти – суть креста.

Взор Аввакума стал смиренным.

– В сем доме?.. В сих стенах ты хозяйка. А я – в душе твоей. Не ты ль, Скорбящая, просила слезно – будь мне водителем духовным? Не дай погибнуть, осиротела я и слепну!..

– Просила...

– И что же, дочь моя? Так укрепилась в вере? Прозрела, обрела покой и ныне я не нужен?

Боярыня укуталась плотнее, сжалась, почувствовав озноб.

– Слаба я, отче... И без тебя мне боязно. Как будто бы в лесу, одна и мрак ночной...

Все время жду: придешь и выведешь. А нет тебя, духовник. Ты муки терпишь в Пустозерске... Может, отмучился? Явился мертвый?

– Открой глаза-то!.. Ужель не зришь – живой!

– Живой вошел бы через двери, а то в окно залез... Не в первый раз твой дух является, и образ... Влетит вот так в окно и сядет. И мы беседуем подолгу, всласть... Бывает, спор меж нами, ссора, да все добром кончается. Я рада...

– Но что-то радости не зрю!

– Да как всегда застал врасплох... Я же в своей опочивальне.

– Тем паче! Как учил тебя? Идешь ко сну – вериги не снимай, три рубища надень, да не шелковых, кои ласкают тело, а холстяных иль вовсе из поскони. И ложе устели не пуховой периной и полотном – рогожей лыковой, полено в изголовье... А прежде помолись и положи поклоны, сот пять ли, шесть. Измучай тело! – Отец духовный всхмурил бровь и, посохом достав сорочку, брезгливо отшвырнул – как будто впрямь змеиный выползок. – Вошел в окно! На то причины есть... Но что позрел? Позор и срам греховный! Тьфу! Почто изрезала вериги?

Она вдруг просияла и, забывшись, приспустила простынь, крест наложила двоеперстный.

– Святая Богородица!.. Се ангел был! Ей-ей, ко мне являлся мой ангел! Вначале глас его раздался – сними одежды...

– И ты послушала, сняла?

– Нимб засветился, желанная прохлада... И звук пастушьей дудки!

– Се искус был, чумная!

– Да нет же, Аввакум! Откуда тогда истинная радость? Отдохновение и сон божественный?.. Как будто бы летала! И всюду зрела свет золотистый. Вот токмо пробудилась – тут и ты явился.

– Что зрела ты, слепая? – Отец духовный застонал и стал молиться в угол. – Спаси ее, Христос... Заблудшая овца...

И тотчас Скорбящую обуял страх, душа птенцом бесперым свалилась из гнезда и пала в пропасть.

– Неужто бес прельстил?..

– Во ангельском обличии явился!..

– А мне сдается, ангел приходил. При мне он помолился Богу, и власяница спала, рассыпалась в куски.

– Ох, чадо несмышленное! – загоревал духовник. – Не разлучили б нас – наставил, уберег, предупредил! А ныне как?.. Далече я!

– Да полно, Аввакум! Ужели я не зряча? Суть, ангел мне явился!

Убитый горем Аввакум встал на колена, навзрыд заплакал и взмолился:

– О, Боже правый! Когда б в потемках смрадных не жила душа, посмел бы диавол к ней явиться? Моя во всем вина! Ведь я отец духовный, а дочь моя во мраке! Увы, увы мне! Не протопоп я суть, не душевидец – червь недостойный. И ныне я – распоп!

Скорбя и негодуя, она оделась в рубище, плат повязала и собрала остатки власяницы – веревки конские с узлами.

– Прости меня, слепую! Не разглядела я... И даже в миг сей глазам своим не верю: ты чудисься, подобно ангелу? Иль тоже прелесть бесов?..

Духовник не внимал, слезами обливаясь, каялся со страстью, и взор его мертвел.

– И не овца в грехах погрязла, но пастырь грешен! Я блуд творю! Геенна огненная мне! Меня казни, Господь, – ее помилуй!

– Ну, полно, батюшка! Мой грех – мне и ответ держать. Я беса не признала, смутилась светлым образом, пастушьей дудкой... Ну, полно убиваться! Встань... Да встань же, наконец. Я недостойная и червь земной. И ведомо: отец духовный дочерние грехи возьмет на свою душу... И замолит. Но мне позволь! Сама очиститься желаю. Не разглядела искуса – мне наказание должно. Приму...

По тысяче поклонов еженощно, суровый пост, вериги новые сплету... Все, что положишь мне.

– Гордыня мучает...

– Не скрою... Случается, болит. В сей миг мой нрав щекочет, жалит... Не забывай, я суть – боярыня, и род мой древний уходит в глубь веков...

– Известно мне! Соковнины! Бояре!.. – Тут Аввакум привстал. – Когда-то были во славе, в соку... да ныне кто? Простолюдины...

– Не смей меня порочить, – глас ее жестко зазвучал. – Да, я вдова... Но чья – не забывай. И кто мой деверь был – кормилец государя!

– Сие я слышал...

– Ты хоть и поп, и мой духовник, да место знай!

– Не поп я ныне, а расстрига, – вновь всхлипнул Аввакум. – Насилие свершили, крест сняли и лишили сана... Лютуют дети блядины! Жену, того гляди, заморят с голоду, детей моих в узилищах запрут...

Скорбящая смирила нрав, откликнулась с душой:

– Уж слышала, отец... Да зрит Господь! Мучителям воздастся!.. Скажи-ка мне, к добру ли к худу ты приснился?

– Я не приснился, а пришел. Из Пустозерской ссылки!

– Ужели государь вернул?

– Отай<sup>1</sup> бежал и по своей охоте! Все более лесами, без дорог. Тонул, чуть токмо не замерз, зверями дикими едва не съеден был. К разбойникам попал и чудом токмо спасся. Духовник мой, блаженный Епифаний, остался в срубе. Горюю я о нем, молюсь, дабы свершилось чудо. Сему святому старцу отсекли язык и два перста...

– Ох, Матерь Пресвятая! Чего во имя сии муки? И страсти лютые?

– Сие ли муки, дочь? Все страсти впереди, крепись, страдалица. Мне было откровенье. Россия на краю стоит, разверзлась бездна! Да ты сама позри! Где видано, чтоб в государстве православном отай молились, по пещерам, как первые наследники Христа? Сие в Святой Руси?! Суть, в Третьем Риме, при государе православном?!.. Иль имя ему – Ирод? Навуходносор?

– Молва идет – тишайший...

– Мне жаль царя. Так грех велик, что лучше б не умирать ему. Не будет вечной жизни ни в этом мире и не в том... Погубит Третий Рим!

– Да Бог с ним, с Римом. Хоть нас бы не сгубил...

– Безмудрая овца! – застрожился духовник. – А ведаешь ли ты, что есть суть Третий Рим?

– Я слышала, красот необычайных сей град и государство. Когда читаю в книгах, бывало, мыслю – вот бы позреть!..

– В свое окно позри! После паденья Византии Москва суть Третий Рим!

Она смутилась ненадолго.

– Добро, коль так. Должно, ты лучше знаешь, чем я... Весьма прелюбопытно узнать бы вот, зачем ко мне явился? Сижу, гадаю... Кормилица все сны мне толковала, а ныне нет Агней

---

<sup>1</sup> Отай – тайно.

и некому утешить... На что ты мне приснился? Ну, ежели в образе твоём и в самом деле сатана пришел? Чтоб искутить?.. Кормилица моя б узрела и распознала сразу, а я не вижу, должно, душа слепая.

– Да как ты смеешь?! – ахнул Аввакум. – Подозревать меня?.. Ума куриного, а спеси и гордыни!.. Старуха темная б узрела! Да ты и впрямь слепая и растеряла ум! Отверзни очи: се есть я!

– Что есть во мне – все от тебя: вериги, разум, крепость веры, – покорно молвила она. – Агнью лишь вскормила млеком и взрастила плоть. Она не книжница, однако же мудра и с ведома. Поставить рядом – вот бы потягались... Далече ныне все, все бросили меня: Агнью в Кострому ушла, тебя услали в Пустозерск... Добро, хоть дух твой иногда приносит с дымом. И коли принесло, что тут ворчать на дочь? Сердечную беседой бы потешил...

Он стал послушным и блаженным.

– И впрямь! Ты уж прости меня. К царю бежал, замыслил упредить и слово ему крикнуть, а прокричал тебе... Уж не сердись, а лучше расскажи, как сын твой, Глебович Иван?

– Помалу подрастает...

– Который год ему?

– Тринадцатый пошел...

– Да, мал еще, чтоб оженить... А часто ль в сенях, при дворе бываешь? Зовут иль не пускают?

– Зовут, да что мне сени? Как Марфа примерла, там суета. Всяк норовит сродниться с государем. Княжен, боярышен полно, по дням стоят...

Духовник на минуту замер, и четки в пальцах задрожали.

– Невесту ищет царь?.. И что, нашел? Избрал кого?

– Избрал, да сие держит в тайне.

– И знаешь, кто она? – Духовник чуть дышал. – Известно имя?

– Нет тайны на дворе, кою б придворные не знали... Известно всем, Нарышкина Наталья, суть, Кирилла дочь.

Согнулся Аввакум и опустил главу.

– Увы, увy мне! Опоздал! – Стащил шапчонку и заплакал. – Коли избрал, то не отступит. Беда, беда идет! Скончанье света! Ой, лихо!

– Но в чем беда?

– Слепая ты, не зришь – царь ведьму выбрал!.. И женится теперь... Жена ему родит... – навзрыд духовник плакал, – наследника престола – отродье сатаны!.. Врожденная болезнь корезить будет тело. И изверг сей!.. Сам назовется император! И станет править Русью... Заморский утвердит порядок, все обратится в тлен. И рухнет Третий Рим!

– Свят-свят-свят! – Ей сделалось знобливо. – Чудно ты говоришь... И страшно.

– Провидцу и моему духовнику было видение...

– А кто твой духовник?

– Да старец Епифаний.

– Чудно... Мне мыслилось, духовник твой, суть, сам Господь. А вышло – смертный...

– Прости ее. – Распоп перекрестился. – Хоть и боярыня, но баба!.. Ужель о старце не слыхала? Воистину святой!

– Коль ты сие изрек, знать, так и есть, – покорно молвила она. – И что же сему старцу привиделось?

– Руины зрел и басурман. Московия в огне... Ужель не чуешь дым?

– Да, право, чую... Но сказывают, се болота горят окрест.

Не удостоил взглядом, лишь слезы вытер и тяжело так вздохнул:

– Увы, увy мне... Адский пламень! Покуда он в земле, дымок один курится... Но час придет, и вырвется наружу...

– Избавь от сих речей! Я вдовая жена и мать – не богослов и не философ. Мне сына следует растить, боярина и мужа государю. Вот мой удел. Сие и подвиг.

– Прости же, Господи, ее! Не ведает, что рещет. – Он к образам пошел и крикнул гневно: – Сейчас же прикуси язык поганый! Антихрист в дверь стучится! – Он поднял перст. – Ужель не слышишь и не зришь? Дверь отворят и впустят... Кому растишь ты сына? К кому служить пошлешь? Какому государю?.. Помысли же, боярыня: бывая при дворе, кого ты чаще зришь? Боярство думное? Стрелецких воевод? Мужей, прославленных на деле государя?.. Или попов заморских? Митрополитов греческих и прочих? Кто ныне по утрам толчется в царских сенях? Кроме невест для государя?

– Пожалуй, что попы с иных земель...

– Или своих не вдосталь? Приходы оскудели, монастыри, и некому молиться в алтарях и требы воздавать?

– К чему ты клонишь?

– Годи, Скорбящая, поймешь... Есть среди них митрополит один, с копытом и рогами. А именем Паисий Лигарид...

– Знала... Богообразный он и кроткий нравом. Тремя перстами крест кладет... Иного же не зрела.

– Поелику слепая!.. Да в том ли суть, как сложены персты? Что два, что три... Коль вера истинна, сие не важно! Хоть мысленно крестись, как старец Епифаний... Я о другом толкую. А ведомо тебе, какой товар привез сей кроткий старец и чем торгует?.. Тебе, наперснице придворной, должно бы знать. Травую бесовскую – табаком! Сам зелье в трубке жжет и дымом дышит... вот эдак-то пускает – фу да фу!.. И паству учит! Суть, причащает огнем и смрадом!

– О, Господи, прости!..

– Ты же глаголишь – сей огонь и дым с болот... А это знак! Нам, слепошарым и в грехах погрязшим! Да кто же ныне внемлет? – Отец духовный затворил окно и обернулся. – Все разбрелись. Кто смерть принял, дабы не ведать мук, кто предал, с сатаной смирившись, а иные многие в пустынях спрятались, уединились... Нас двое ныне – ты и я.

– Авось минет беда, – без веры и надежды произнесла она. – Случалось, басурмане набегали, шведы, шляхта... И Никон! Да где все ныне?

– Се были слуги, коих сатана послал. Виденье старцу было, скоро сам придет! Недолго ждать осталось, коль царь невесту выбрал. Во чреве девы сей антихристово семя! Кто у нее родится?.. И помянуть грешно. А скажут – император!.. Детей от Марьи изведет, кого во гроб, кого в обитель...

– Помилуй, Боже!.. Но что же делать нам?

– Сразиться с супостатом. Мы ж воины Христа! И должно нам свершить духовный подвиг. След силу сатаны отнять! А сила его в Приданом, что к нам пришло из Византии. Слыхала ли о нем?

Боярыня вздохнула, опустила плечи.

– Нет, не слыхала я...

– Да быть не может! Ужели при дворе никто не заикнулся? Не обронил случайно?.. Приданое? За Софьей Палеолог?.. Оно хранится... иль хранилось в Успенском монастыре, в подземном тайнике. Сам был, сам зрел!

– Что есть сие? Одежды, золото?

– Приданое ее не сундуки с добром и не корабль со золотом. В ином ее богатство!

– Так в чем?

– Суть в Знании мира, – изрек блаженно Аввакум и пуще вдохновился. – Тебе се звук пустой, коли пастушья дудка милей и краше...

Но всякий муж в Руси проникнется любовью, когда сие услышит. Будь он боярин, воевода иль протопоп, как я... Приданое Софии – суть Истина, которую хранили все цари, будь

византийские иль наши. А кто владеет ею, тот обладает главенством разума и духа во всем мире!.. И вот сие богатство достанется антихристу! Отнять его – суть обезглавить вражью силу!

– Ну, так поди возьми, коль знаешь.

– Да ныне ко двору нам хода нет! Толпа митрополитов осаждает царский дом! И царь им потакает... А кто они? Табашники! Паисий Лигарид! Он ныне причащает и государя, и его молву – суть патриарха... Собака Никон хоть и в ссылке, да от царя не отлучен и тайно правит! Великий государь...

– Сие давно слыхала... Ты растолкуй-ка мне, в чем суть главенства, пришедшего на Русь? Что за приданое мы взяли за Софьей Палеолог?

– Глаголишь ты, как гость...

– Уж как умею!

– Скажу, так не поймешь... Ох, баба! А еще своим сословьем гордишься через слово! Смешно же, право: чем худородней род, тем царственности боле...

Боярыня притопнула ногой.

– Оставь мой род! Судить его не вправе, хоть и духовник ты... Меня суди, коль я позволю. В сей час же отвечай: что Софья привезла? Коли сказал, не сундуки с добром, не золото...

– Да книги, дочь, – в тот час смирился он. – Писанья разные, народов и времен. Папирусы, пергаменты и свитки... И книги, много книг, иные весом в пуд и боле. На разных языках, какие токмо есть. На древних, нынешних... Там столь всего и всякого – зараз не перечесть... В Москву везли на сорока подводах... Сокровища ума! Суть воплощенье истин! Сливки!.. А что осталось миру? Один сняток.

– Впервые слышу...

– Позри сюда. – Он вынул свиток из сумы, перекрестился, устами приложился и челом, ровно к иконе. – Се есть крупица от тех сокровищ, но ее во имя след храм поставить, монастырь! Молиться и хранить святыню!

Скорбящая взглянула: писано рукой, однако же письмом не русским, не церковным и не греческим – бог весть каким. Крючки, каракули и точки, ни слова не поймешь, да и чернила выцвели, истерлись...

– Не знаю сих письмен...

Пустозерский узник не то чтоб просиял, но засветился внутренне, глаза зажглись огнем.

– Евангелие Матфея, его апостольской рукою писано...

– Но языком каким? Ни слова не поймешь...

– Язык сей древний, иудейский, и письмена...

– Да что ты, батюшка! Скверна, коль иудейский!..

– Ох, баба, вот беда! – возмутился он, перекрестился в угол. – Ох, нет ума! И как сказать – не знаю... Чему тебя учил? Пред кем метал слова – суть, драгоценный бисер?.. Скверна!..

Да есть ли драгоценней изумруд среди всех святынь, кои во храмах нынешних? А свиток сей лишь толика!..

– Ну, будет, не сердись, – сдалась боярыня. – Смрад над Москвою ныне, жара и сон пропал. Ослабла головой...

– Ужель не разумеешь, что есть Приданое Софии?

– Ты сам же говорил: у бабы волос длин, да ум короток... Изведать хитрости ученые в один погляд, осмыслить пользу мне нелегко.

– В том и беда... Боярыня придворная, наперсница царицы о сем не ведает. А что же нам, убогим, сирым? И вовсе тьма?.. Не знаем, ни что творим, ни чем владеем. Зато Паисий знает! Пришел на Русь не токмо табаком смущать – кричит повсюду: вы варвары, сарматы, ошибка Божья! Вам смерть грядет, погибель государству... И поделом! Мол, недостойны владеть Приданным Рима!

Скорбящая приподнялась и, потянувшись, встала, обвязывая волосы монашьям черным платом.

– Уразумела я иное... Спаси Христос. Хоть и явился ты не в яви – твой дух в моей душе, но не напрасно. Знать, здрав рассудок мой... Спаси тебя, Христос, духовник! Уразумела знак. Коль при дворе я, знать дьяволу служу... Добро, отец духовный. Послушаюсь тебя, уйду и непричастна буду. Отныне ни ногой...

– Постой, боярыня! – прервал духовник. – Не зарекайся. Сего я не сказал... И не скажу, поелику тебе след искупить свой грех. Трудом, на благо веры и Христа во имя.

– Молитвенным трудом?

– Но ты же не монашка – боярыня придворная, коей открыты все пути и тайны...

– Что делать должно мне?

– А в сени царские ходить, – не сразу вымолвил духовник, взглянул с прищуром острым и нехотя, с ленцой, суть изложил. – Так, как и прежде. Покличет государь иль нет... А коль возьмет Наталью, в доверие войти и стать наперсницей. Тебе же не впервой?.. И исподволь, отай, прознать судьбу Приданого! Цело ль оно и где сокрыто. В обители Успенской, что в слободе, иль в монастыре каком?.. Сдается мне, в великой тайне услали Истину, по северной дороге. Доподлинно известно, на Святки нынче разбойный люд ходил под Ярославль, обозы промышлять. Застал один на тракте – суть, семь саней под стражей. На вид с купеческим товаром, а в самом деле книги, свитки... Все вывезли иль нет, не ведомо. Сколь раз по семь таких обозов было?.. Скорей, что все, и где-то спрятали надежно, укрыли, затаили. Мест много, до самых Соловков монастыри.

– Мне что же, отче, по сей дороге идти и спрашивать?

– Коли не прознаешь у придворных иль у младой царицы, куда сослали сие чудо – немедля в путь пускайся. Поедешь будто б на моленье, в одну обитель, во вторую, третью – до морей студеньих, покуда не отыщешь. Да не тyani с отъездом. Найдешь Приданое, так разузнай, кто состоит при нем, кто призирает, охрану кто несет... А случай выдастся, сама взгляни. Как все исполнишь – дашь знать. Я в Пустозерске буду. Пошлешь гонца надежного... Сие мне будет помощь.

– Как странно слушать речь твою. – Скорбящая вздохнула, очи долу. – Ты ровно тать глаголишь... Как будто бы задумал похитить сие Приданое. Я же – пособник твой...

На толику смутившись, он вмиг укрепился и жестче стал.

– Коль мыслишь так... Возьми топор и руку мне по локоть! Чтобы не брал чужого!..

– Да был бы явен ты...

– Ужель не зришь меня? Так на вот, шупай! Десницу на, руби, коль татью назвала!

– Ну что ты, право...

– Нет, Феодосья, я не вор. И слушай же меня, коль я еще духовник! Приданое – знак святости и веры, знак мощи, благородства разума. Гора вселенской мысли, твердыня человеческого духа! А ежли духом завладеет антихрист? Сама помысли, достойна ль нынешняя Русь сих символов и знаков, когда сам царь со сворой вкупе ломает веру? Когда не собирает земли, не спорящих мирит и укрощает распри – раскол чинит, невиданный доселе!.. Отнимем Истину, пускай антихрист-государь зовется император! Поведаю тебе: сией печати достоин тот самодержец, кто Приданным владеет!

Боярыня встряхнулась и дух перевела.

– Послушала б тебя... Но ты же снишься!

– Тьфу, лешая! Да кто сказал, что снюсь? Вот, вот он я! Стою перед тобой, в крови и плоти!

Она же руки спрятала и отшатнулась.

– Но почему тогда в окно забрался?.. Раз ты не призрак – открыты двери, средь бела дня пришел бы.

– Среди твоих убогих и блаженных есть такие... Вмиг донесут! Кто спит под твоей дверью?

– Да Федор, коего ты привел из Устюга. Еще верижник Киприан и Афанасий... Воистину святые прозорливцы.

– Возможно, так... Да токмо я не верю.

– Позрел бы, как Киприан измучил тело! Живого места нет. А Афанасий мыслит в Палестину пешком пойти, Господню Гробу поклониться. Сейчас постится, уж сорок дней лишь воду пьет...

– От святости ли муки себе чинят? А если от греха?..

Скорбящая руками развела:

– И тут заставил усомниться... На самом деле: обрел бы святость, не язвил бы плоть цепями... Послушай, отче, зачем же государь услал Приданое, коли оно святыня суть? Почто же спрятал? Чтоб истины не ведали? А книги правила бы так, как в греческих?

– Мудреешь на глазах, уже добро... И худо! Дождусь, когда отринешь, сказав, на что мне сей духовник? Сама собою кормлюсь...

– Уж мыслила – на что? Зачем духовник мне, коль дух его далёко? Отречься бы... – Она пред образами встала и помолилась коротко. – Да не готова я... Сама терзаюсь, мочи нет отринуть... зов плоти и мысленный телесный грех. Как ночь, так длань над свечою жгу, как ты, чтоб устоять от искуса. Вериги не спасают: чем боле язв на теле, тем плотский зуд сильней... Но побеседую с тобой, покаюсь, помолюсь или подумаю, припомню речи, наставленья, и отступает грех.

– От плотских искушений и вериг довольно, – отмахнулся он. – Токмо носи и не снимай, кто б не прельщал. Коль власяные рвутся, вели сковать железные, с шипами! А для бесед... Любого избери попа и пусть приходит. Их вон сколь по Москве. Одно лишь твое слово, и отбоя нет.

– Бывало уж, звала, – не сразу и печально промолвила она и усмехнулась. – Белых, черно-ризных... Да вот беда, на исповедях иль просто при беседах, наедине оставшись, одни немеют и замыкаются, иные же... грех и сказать. Во взорах блуд, а вместо слова отчего – суть искушение... Нет, Аввакум Петрович, и ты не без изъяна, но сень твоя приносит благо. Один ты истинный духовник, благочестив и сана своего достоин. Не оставляй меня. Послушной тебе буду.

– Добро. Исполни же, что я велю. Проведай, куда Тишайший отослал Приданое.

– Не нам судить царей, помазанников Божьих. Так сам учил...

– Ты не суди, ты токмо лишь прознай и мне скажи. Сие будет похвально. Беда грядет Руси!.. Иль мучают сомненья?

– Сомнение одно: что зрю, что слышу я – не прельщенье ль бесов? Не свычны мне ни речь твоя, ни просьбы и приказы. Ужель с тем шел из Пустозерска?

Духовник свиток спрятал и вдруг задумался, растерянно развел руками, озрел опочивальню.

– И верно! Ведь не засим пришел... Постой, постой! – И по челу ударил, вспомнил. – Все свиток сей! Приданое! Да ты еще заговорила... Забыл, с чем и явился... Да, вспомнил, преблагая! Поддай-ка денег мне! Я же опять в опале, расстригли, без прихода. А Марковна с детишками в Мезени голодует.

– Ох, слава Богу! – груз тяжкий с плеч упал. – Знать, в яви ты явился, не сон и не прельщенье. С тобою говорила, а мысль не покидала – пригрезился, приснился... То, что в опале, знаю!

– Утешила... Что ж денег-то не шлешь? Столь раз была оказия... Нужду терплю! Прихода мне не дали, поелику распоп, кормлюсь травой, коли Господь пошлет – сушеной рыбой. Давно уж хлеба не едали...

Боярыня перекрестилась трижды и вдруг повеселела:

– Денег? А на, возьми!.. Святая Богородица! Знать, не блазнится мне! Ох, испугалась – страсть! Уж думала, не хворь ли от тоски напала? Не помутненье разума? Очам своим не верю, хотела уж рукой пощупать... Ан, нет, не призрак – суть, живой, коль денег попросил!

Взявши монеты, Аввакум пересчитал и ужаснулся:

– И токмо – семь рублей?! Ну, Феодосья, ты не обсчиталась? Подай еще! Добавь хоть бы полстолька! Я много верст прошел, а страху натерпелся! К разбойникам попал!.. Ужель забыла, сколь душ детей? Подай, подай! Скупа ты стала...

– Да Бог подаст, духовник! Дала, сколько могу, ты меня знаешь, боле не прибавлю... Ступай!

Он деньги спрятал, к окну направился.

– Спаси Христос на сем... Уйду, как и пришел! А ты в вериги обрядись и не снимай! Да не забудь, что обещала. Я вести жду!

И канул в дым, как будто в преисподню...

## 2

Собачьими ходами, по закоулкам, сквозь лазы тайные, он миновал заставу городскую. Неузнанным, а более невидимым под покрывалом дымной ночи, нашел дорогу и, невзирая на обличье монаха-странника, бегом пустился наутек. В домах богатых и лачугах, хоть люд простой, а хоть вельможный, в самой Москве и слободах – куда ни постучись, везде бы тайно приняли, подали помощь, кров и поклонились низко. В иных хоробах молились за страдальца, ждали пророческого слова, в иных и вовсе звали – преподобный. Однако Аввакум и в мыслях не держал, чтоб объявиться кому нито, и те двory, где больше чтили и рады были б, он огибал подальше стороной. Враг не творит столь зла и глупости, как страстный почитатель. Сии апостолы нет бы уста замкнуть, також, напротив, восторга не сдержавши, молву на волю пустят...

Уйти подальше от столицы, пока не рассвело, пока предутренний тягун не поднял покрывало дыма, а уж на дороге легко смешаться с путным людом... Вон сколь их ходит по Руси – артели плотников, бездомные бродяги, убогие, холопы беглые и прочий сор. Верст на семь убежал, до придорожного села Останки и, миновав его, в часовенку зашел, чтоб помолиться на восходе.

Побег из пустозерской ссылки чудесным был, и всюду зрел он и помощь, и промысел Господний. Бежал в Москву не за деньгами, не жертвы жаждал за свои страданья, не милостыни Христа ради – замыслил муки обрести и не гордыни для – во имя благочестья веры.

Он полагал, вдогон стрельцов пошлют и где-нибудь поймают, вновь в цепи закуют и повезут назад. Глядишь, люд православный вновь всколыхнется, возропшет, а то притих совсем, смирился с ересью, да и ревнитель благочестия в опале заскучал, забытый царем и паствой. Давно ль в народе говорили – апостол веры православной? Давно ли государь и сам молил его смириться, замолчать, и иерархов посылал, вельможей, дьяков? Теперь же никого! Ровно распоп мятежный умер или огонь утратил, чтоб обличать отступников, еретиков и самого царя!

Пусть знают – жив Аввакум еще, и ныне укрепился втридесять супротив прежнего. Воистину пути Господни не исповедать: не муки Бог послал, а сам явил святыню, суть свиток с Евангелием Матфея. Дай срок, и Истина придет. Вот возликует старец Епифаний!

Молясь в часовенке дорожной, он чуял над собой покров и око Богородицы, а посему и ухом не повел, когда копыта застучали и остановились против двери. Не глянул даже, кто рядышком молиться встал, и темновато было, взял нюхом: пахнуло смрадом зелья – табашника почуял! Тут гнева не сдержав и не позрев кому, распоп сказал ворчливо:

– Поди-ка прочь! Не оскверняй!

И вроде б присмирел поганый, дыханье затаил, но вдруг по полу саблей брякнул и на ноги вскочил.

– Ужели Аввакум?.. Глазам не верю! По всей дороге пять недель ищу, с ног сбился, а ты, распоп, здесь обитаешь! Подле Москвы!

Беглец лишь глаз скосил и сразу же признал – Иван Елагин, полуголова стрелецкий! Матерь Божья! Дева Пресвятая, спаси и сохрани!

Еще недавно страстно жаждал встречи, лез на глаза властям, бранился всенародно, хуля еретиков – глас вопиющего в пустыне! А тут, когда молиться встал, чтоб пронесло, чтоб путь Бог дал до Пустозерска пройти незримым и старцам принести Евангелие Матфея, услышан не был и сатана чертей послал.

Его в тот час же обступили, кто засмеялся, кто с руганью напал, кто просто пальцем тычет, от изумления лишившись речи. Елагин свечку погасил, огарочек себе в карман, распопа взял за шиворот:

– А ну, идем на свет! – и поволок на улицу, а сам одежды щупал. – Грамотки носил? Народ смущал?.. Раздеть его и досмотреть как следует!

И тут же, у часовни, вся свора песья разом навалилась, полукафтан сорвали и подрясник, стянули сапоги, порты спустили, однако же суммы никто и не коснулся, поелику стрелецкий глаз прильнул к гайтану – кошель с деньгами!

– Храни вас Бог, служивые, – смиренно пел распоп, монеты прижимая дланью, тем самым отводя глаза. – Не по своей же воле срамите старца, в душе вы агнцы Божии. Прости их, Господи, за прегрешенья вольные и невольные...

– Годи-ка, Аввакум. – Елагин потянулся и суму достал. – Речист ты нынче и больно уж терпим. Знать, хвост замаран... Что здесь припрятал? Свиток? Подметное письмо?

Распоп едва сдержался, гайтан зажал в кулак, чтоб руку укротить.

– В заезжей подобрал. То ль книга долговая, то ль что еще... Не наш язык, да и письмо...

– Не наш, се верно... Зачем же подобрал?

– Бумаги в Пустозерске нет, а свиток харатейный, с изнанки чистый, годный для письма.

Святыня по рукам пошла, сначала щупали, как щупают товар, затем тарасились на строчки и развернули, наконец, во всю длину.

– Тут целая сажень!

Невежды, варвары! Коль ведали бы, что творят!..

– А что, распоп, горазд ли ты в науках книжных? – спросил Елагин, скручивая свиток. – Иль врет молва?

– Моя наука от протопопов Ивана да Стефана, коих казнил ты, государь. Сколь получил от них, столь есть. Сие ты в прошлый раз пытал...

– А в письменных? С кем книги правил?

– Лазарь был горазд и старец Епифаний, – уклончиво и мягко промолвил он, подвоха ожидая. – Да ты, Иванушка, сиих отцов ученых перстов лишил и языков. Я против них всего лишь в треть...

– И этого довольно. – Мучитель усмехнулся ему в лицо. – Ответствуй мне, апостол: кем писан свиток сей? Кто руку приложил?... Ну, не упорствуй, на сей раз нет заступника, и правды я добьюсь.

И Аввакуму бы язык отсек Пилат сей в Пустозерске, да государь вступился, запретил казнить.

А лучше бы казнил!..

– Евангелист Матфей, его рука...

– Ну, полно, не юродствуй. – Елагин мягок был и потому опасен. – Не узнаю тебя. Ты прежде обличал, анафемой грозился и называл меня – Пилат, а ныне молишься за нас и говоришь смиренно... Что ты замыслил? Утек из Пустозерья, в Москву сходил и в тот же час назад. Ни мятежа не сотворил, не побуянил, ни грамоток, ни челобитных... Коль не считать сей свиток. Здесь скажешь, что тайно писано сиим письмом, или свести в подворье и поднять на дыбу?

– Здесь скажу... О Боге нашем писано, суть, о Христе и муках его смертных.

Пилат не верил, ибо невеждой был и вряд ли ведал о сути книг Приданого Софии.

– Добро, послушаю в подворье. Что скажешь там?

Стрельцы железа наложили и, взявши на веревки меж двух коней, поволокли на патриарший двор...

Весь путь к Москве из Пустозерска он шел, не прячась, и лишь дивился, что до сих пор не схвачен. И оставалось уж рукой подать, когда однажды перед утром услышал впереди неясный шум, как будто на току стучат цепями, и лишь потом крик сдавленный и детский плач:

– Не бейте тятю!..

Ему бы в сторону да по кривой дорожке, но Аввакум от роду не вилял, когда случалась драка или какая распря. Напротив, подоткнув подол за пояс, подпернув рукава, кидался в гущу. И что там сан духовный и долг отеческий? Сие потом, при шапочном разборе: кого утешить

или пожурить, кому кнутом воздать, чтобы в кулачной схватке не вынимал ножа, побитому так раны подлечить...

И в сей же час он не ушел с дороги, прибавил шагу и вскорости позрел не драку, а разбой. Три лиходея повозку брали. Должно быть, сельский шорник к утру на ярмарку стремился, вез свой товар нехитрый, и тут его подстерегли. Один коня уж выпряг, чтоб увести, другой в телеге рылся, а третий, шорника распнув между колес вожжами, клешнями бил и что-то требовал:

– Отдай! Иль голову снесу! Что было на гайтане?

А чуть поодаль – отрок, верно, сын. Валялся на земле и плакал:

– Возьмите все – не убивайте тятю! Ужели нет креста!..

– Да нет креста на вас! – взревел распоп и, выступив из дыма, в мгновение ока с плеча ударил первого.

Тот выпустил узду и повалился навзничь, как будто не стоял, и токмо шапка покатилась. Второй попятился, в руках хомут, корзина, глаза на лоб – ему досталось с разворота в ухо. Разбойник опустился в пыль и, как пивной котел, забулькал, заскворчал и ухнул на бок. Но тот, что мучил шорника, топор из-за спины достал и ринулся на Аввакума. Хоть ростом не высок, но ловок и настолько злобен, что пламень бьет из глаз и пена на устах вскипает!

– Изыди, сатана! – вскричал тут пустозерский узник, но не крестом оборонился, а потянул оглоблю. – Ужо вот я тебя!..

И чудом уберется! Скуфью смахнуло топором и темень скребануло. Оглобля не далась, не оторвать завертки, а боле пусто под руками! И крест един – нательный...

Еще бы миг, трактовый лиходея срубил б затычку на сосуде, разбил оковы и отпустил на волю страдающую душу. Однако же Господь вступился, знать, не пришел тот час и путь мучений не прервался. Вдруг подвернулся камень – голыш замшелый, придорожный, хватистый для длани...

Сей камень брошен был! Топор разбойника круг совершил по воздуху и лезвием воткнулся в сырую землю, конь всхрапнул, а шорник, с силами собравшись, с голгофы оторвался и в тот же час исчез в туманном смраде.

– Эй, куда ты, православный!..

И вслед за топором, как будто бы в земном поклоне, грабитель ткнулся головою в пыль да так и замер. Все стихло, улеглось, унялось, и токмо отрок ползал чуть поодаль и тоскливо звал:

– Тять?.. Тятенька?.. Ты где?..

Лишенный сана протопоп крест поискал нагрудный и, не найдя, прижал ко сердцу длань, перекрестился:

– Пронес Господь...

Затем скуфейку поднял, отряхнулся и глас услышал:

– Не убий...

Два первых лиходея пришли в себя, зашевелились, встали на карачки – глаза чумные, страх. Один хотел бежать, однако третьего узрел, позвал тихонько:

– Брат?.. Эй, братка?.. Жив?

Тот все стоял коленопреклоненным и мордой в землю, по праву руку топор торчит, по леву – камень. Разбойники его под мышки, распрямили и, озираясь в страхе, прочь потащили, и вроде бы не волоком – перебирал ногами, знать, жив...

– Пронес Господь!

А голос снова Аввакуму был:

– Я заповедал – не убий...

И ровно плетью подстегнул! Бежать бы не пристало ни с места драки, ни от греха, коли такой случился, да ноги сами несли по большаку, покуда впереди из предрассветной мглы село не показалось. А к сему часу и людей прибавилось, суть пеших, конных, и все к Москве спешат, кто с чем, от всех не отвернешь, и Аввакум, сойдя с дороги, окольно двинулся. Сомненья

боле не терзали – ей-ей убить не мог, а токмо оглушил, уж больно малый камень, чтоб череп проломить. Знать будет, лиходей, как грабить! Вовек не выйдет на большак, закажет чадам, внукам...

Тут закричали петухи, зоря восстала, червленая за дымом, тревожная, как будто бы пожар горит, но и то же благо: чай, свет, не тьма. Распоп слегка воспрял, махнул через поскотину и скоро очутился среди села – храм богородичный, заезжая изба, странноприимный дом... Ворота настезь, ключарь то ль пьян, то ль уморился за ночь и спит в телеге, а из распахнутых дверей (изба курная), словно из бани, жар пышет, тяжелый дух и сонный бред. Довольно братии набилось, лежат вповалку, не ступить... А печь пуста и камень хладен! Чу, кто-то встал и помолился: «Отче наш...» И, вторя ему мысленно, распоп забрался на лежанку и ноги вытянул – как раз. Поднявши руку для креста, к челу коснулся и так уснул, забыв, что ночь была лиха и полна страстей. Да свыкся уж: иных ночей не ведал без малого, поди-ка, лет тридесять...

С той самой ночи, как со Стефаном приехал в Успенский монастырь и не коснулся дна бездонного колодца, криницы, родника – суть Знаний, сокрытых в Приданом Софии. Однако же при сем он не достиг вершин и радостей вселенской мысли, не испытал твердыни под ногой, и токмо страстным взором, но не умом позрел на Истину. И был зачарован ею, как сном чудесным...

В странноприимном доме он спал недолго, чутко и вмиг очнулся, едва поднялся ветер. Избенка зашаталась, захлопали окошки, ставни. И, вместо дыма, пыль подняло до самых до небес, и то ли ею, то ли тучей накрыло солнце, и померкло все. Лицо скуфейкою отерши, он свесился с печи: слепой бродил вдоль стен и шепотом молился, безногий лапти плел, женоподобный инок, склонясь над лавкою, марал пером бумагу и теребил косу. А боле никого!

– Христос воскресе, братие, – промолвил Аввакум и ноги уж спустил.

Тут и вбежал ключарь, глаза протер, пыль сплюнул в угол.

– Ветрище-от какой!.. Ну что, убогие, проснулись? – И избу оглядел. – Тута мужик пришел... Дитя крестить зовет, младенца.

У Аввакума сердце дрогнуло: давно не крестил, все боле отпевал в последние лета. Вести же чадо под Христово лоно – эка радость! Однако ж в путь пора, пока ветришко дует: для беглого погода в самый раз...

– Кто может справиться дело? – меж тем спросил ключарь и к иноку пристал: – Ступай, чернец, служи.

– Как тот мужик персты слагает? – спросил монах, письмо оставив.

– А так, как все, – ключарь десницу поднял с двоеперстьем.

– Тогда ступай!

– Да не боись. Мужик-то свой и выдачи не будет. Вот крест.

Чернец косичкою махнул и сплюнул.

– Ступай, ступай отсель! Не искушай! Безногий ухмыльнулся и лаптем постучал.

– Да ты давно уж искушенный... Поди, донос строчишь?

Подобно немтырю, распоп невнятно мыкнул и, вдруг озлившись на себя – чего засуетился, дитя ж зовут крестить, по старому обряду! – спустился с печи.

– Я справлю Божеское дело.

Вслед инок зыркнул – лица не увидал, а ветер дверь захлопнул. На улице ждал молодой мужик с подбитым глазом, шапчонку снял и поклонился.

– Айда скорее, батька! Ишь, ветер разгулялся!

Сомненье ворохнулось: не лиходей ли с большака? С чего синяк-то носит? И свежий больно...

– Кто лампу-то подвесил? – спросил ворчливо. – Ишь, светит как...

– Да по лесу скакал, чуть ока не лишился...

### 3

А ветер с ног валит, ломал деревья и в воздух поднимал соломенные крыши. Полнеба черного, и в туче бьют молнии, а грома не слышать. В другой же половине сквозь дым и пыль проглядывает солнце и чудится, в сей миг из облака архангелы явятся и затрубят – скончанье света!

В телегу сели, конь заупрямился, вылезит из оглобеля, копытом бьет – не может против бури. Распоп молиться стал, мужик из-под соломы кнут выдернул ямщицкий, и вкуче у них сладилось, поехали. За селом свернули с большака, помчались по ветру и бездорожью, по выпасам и нивам, к лесу, а там проселком. А буря все сильнее – земля трясется.

– Не погодить ли нам? – спросил возницу. – Ведь худо в лес соваться. Уж лучше в поле переждем...

– Ой, батюшка, боюсь и не поспеем!

– А что же так-то?

– Да худ уж больно! Ишь, буря разгулялась! Ой, отлетит душа! Ой, канет в бездну! Так нехристью уйдет!

– Ужель младенец хворый?

– Ох, не сказать, как хворый! Того гляди примрет!

И засвистел, и окрестил кнутом коня, а деревья столетние трещат и валятся – инно хвоей обдаст, инно листвой, и все крестом ложатся. Страх Божий!

Средь леса деревенька, курные избы, бани и амбары, народ толпится, ждет. Возница вожди бросил, в дом заскочил, там пошептался и скоро вышел.

– Входи, чернец, жив, слава Богу! Распоп вошел, а следом бабы, ребятишки.

В избе на лавках мужик лежит, на голове завязка кровавая, весь белый, и взор уже поблек. Хоть и темно было, и дымно на дороге, но Аввакум в единый миг признал разбойника – он шорника пытал, распявши у телеги...

Не сердце стало – суть замшелый камень! Оледенило грудь... И вдруг ожило, кровью облилось – суть смертный грех свершил, душа пропала! И был готов уж на колена пасть и, пеплом голову посыпав, смешаться с грязью, но тут старик седой, богообразный, ткнул в спину:

– Ну, батюшка, давай! Чини обряд!

– Где ж чадо, православные?..

– А вот лежит. Крести скорей, покуда жив.

– Его крестить? – едва собой владея, переспросил распоп.

Баба лохань поставила и налила воды.

– Само собой! И имя дай.

– Он что же, басурман?..

– Ни, батька, русин, эвон, деда его.

– Почто же не крещен?

– Так жребий пал, – старик развел руками. – По воле Божьей всё...

Его лишили сана, но не лишили духа священника. И он в тот миг выиграл.

– Вы что же, православные, бросали жребий? Кого крестить, кого и без креста оставить?

Где ж это видано такое? И кем заведено?!

– Да, батюшка, не нами. Все от дедов пошло. Они так делали, и мы...

– Кто ж им науку дал? Откуда повелось? Тут за спиною зашептались, задвигались – старик продолжил:

– У большака живем и, зная, разбоем промышляем... А ремесло такое, случается, калечим иль вовсе... Кому сей грех принять? Загубит душу православный – вечного царства не

видать. Вот и не крестим одного на двор, чтоб избежать греха. А перед смертью попа зовем... Окрестит, причастит, аки младенца, – вот и спаслась душа...

От непотребства лютого распоп свой грех забыл, в великий гнев вошел:

– Еретики! Язычники! Халдеи! Да ведаете ли, что есть Христова вера?! Увы, увy мне! Что услышал я?! И где?! Суть не в Сибири, не в Даурах от туземцев – от русских же людей! Окрест Москвы живущих! В местах, откуда зрим Иван Великий и тридесять церквей! Небесная Царица! Отец Небесный наш! За что же я страдаю?!

Рукой сухою, деревянной, старик вновь в спину ткнул, невозмутимо вымолвил:

– Ну, будет нас хулить! Крести давай!

Все остальные же притихли и молчали скорбно, смотря на сродника и смертный одр, – должно, переживали и не внимали слову.

– Да вам бы впору волхва позвать! Иль как в Даурии – шамана! – взревел тут Аввакум, забыв не токмо грех – и расстриженье, и опалу. – А не попа с молитвой православной! Аз есмь отец святой! И веры христианской!

– Покликали б волхва, да где же взять? – вздохнул старик. – Едва тебя-то отыскали... Да полно, бать. Ну, пожурил, и будет. Справляй обряд. А то ведь в нашем стане дворов три десять, и в каждом – некрещеный.

– Да ведаете ль вы, кого позвали? – утратив страх и осторожность, спросил распоп. – Кто ныне перед вами?! Невежды дикие! Ужели не признали?

Тут лиходеи шевельнулись, позрели на него, переглянулись и виновато опустили очи. Старик пожал плечами.

– Откуда ж знать? Не знаем... А нам и ни к чему. Коль деды завещали – мы исполняем... Ну, поп, служи давай.

– Аз есмь Аввакум Петров! Разбойники молчали, их бабы, ребятишки и старухи в сей час и глаз не подняли. Токмо старик сказал:

– Нам имя ни к чему. Мог не называться, так всем покойней...

– Ужели не слышали? – теряя сердца жар и гнев, спросил распоп. – Молва не дотекла?... Я протопоп опальный! Ревнитель благочестья древлего! Я Никона, собаку, в спорах о вере истинной купал в блевотине, в его ж дерьме топил! И волю самого царя презрел и веры не отринул, даже когда он на колена встал!..

– А кто там ныне царь? – степенства не роняя, спросил старик. – Иван все правит?

– Мать честная! – сердце зашлось от изумленья. – Не ведаешь, кто царь?..

– Да как-то ни к чему... Коль скажешь, так узнаем.

– Эй, грешные! Кажися, помирает! – бабенка встряла в спор. – Глаза-ти закатил...

Толпа качнулась к лавкам – детей штук шесть, родня – старуха завела причет. Костлявый козенок уж в третий раз ударил в спину.

– А ну-ка, поспешай! Не то и впрямь примрет... Я опосля спрошу.

Распоп не то чтобы сломался, но, гнев весь выметав напрасно, расслабился, объял и вмиг почувял, как сердце холодеет. Не лиходей на лавках помирает – суть он в сей час умрет!

– Не стану я крестить... Дед глазом не моргнул.

– Почто не станешь?

– Убивец он, разбойник, лиходей!

– Дак промысел такой, при большаке живем по воле Божьей. – Он покряхтел миролюбиво. – А ты по сей же воле поп, и промысел – спасенье душ человеческих. Так исполняй свой рок.

Остатки сил ушли... Уж лучше б он кричал иль топором грозился, уж лучше б шайкой всей напали, ножами бы трясли – тогда бы постоял. А тут все доводы уходят, ровно вода в песок...

– Нельзя мне ни крестить его, ни причащать. Ни отпевать потом...

Старик невозмутимо огладил бороду, в очах его смиренных проступила жалость.

– А что так, батюшка?.. Запрет наложен? Инно зачем назвался?

– Се я убил его, – признался Аввакум, не опуская взора. – Под утро на дороге разбой был, телегу грабили. Я не стерпел...

Вся шайка шевельнулась, позрела на распopa чуть дольше прежнего и отвела глаза, как будто разбрелась.

– Чем ты их бил? Булавой? Кистенем?

– Двух кулаком настукал, а нехристя сего – суть камнем...

– А стукнуто добро. – Дед толк понимал. – И поделом досталось. Поп вышел супротив трех молодцев и на кулак всех взял. Ох, срам какой! Что б деды наши нам сказали? И ныне от стыда в гробах перевернулись!.. Ну, будет мне, эк разворчался. – Он руку протянул и отрока погладил – суть ангелок, бел волос, васильковый взгляд. – И все едино, крести да имя дай свое. Спасешь его и сам спасешься.

– Я заповедь нарушил и смертный грех свершил, – чуть ли не плакал Аввакум. – И справлю чин – не будет благодати!

Тут старый лиходей преобразился, покорным сделался, смиренным – ну, истинно великий постник, молитвенник – архимандрит, а не разбойник.

– Ты ж нехристя ударил, лихого человека, в коем бес сидел. Вот ты его изгнал как подобает, по-библейски. Помысли же: откуда вера к нам пришла? От иудеев, аки плод от древа, а по плодам его о древе судим... Чем они грешников лечили, отступников и бесноватых? Камнем же, и насмерть забивали. И их первосвященники кидали первыми. Ты лишь исполнил то, что заповедано отцами церкви.

Распопу б крикнуть – еретик! – но, взор поднявши, узрел перед собой богообразный лик и умилился!

Меж тем сладкоречивый бес все боле искушал:

– Ты из писаний знаешь – святым возможно стать двумя путями: или молиться день и ночь, себя в посту держать и чудотворствовать, иль подвиги свершать на поле брани и кровь проливать. Прославили б Юдифь, коль не была б коварной и жестокой? Коль головы бы не срубила Олоферну? И преподобный князь Владимир крестом ли токмо Русь крестил? А разве сам Христос не батогами гнал торгующих из храма?.. Утешься, батюшка, и с Богом приступай. И все труды твои не даром, воздам сполна, едва ли унесешь. Подобной благодарности вряд ли кто видывал из смертных, богатый дар... Но поделом.

Неведомо, что сотворилось: то ль искус не узрел, ослабил волю и дух не укрепил молитвой, не осенил крестом, не взвыл «изыди, бес поганый!», то ль сей разбойник искусным был на слово, – прельстился Аввакум. И если прежде на своем стоял, хоть чуял, что не прав, многжды бит был за строптивый нрав и из приходоу изгнан; тут сатана попутал – надел епитрахиль и стал служить.

И ветер вмиг унялся, что в небо бурей подняло, осыпалось на землю, тишь наступила, благодать. Распоп святил купель, молился, пел, а в сердце плакал и мыслью утешался – не выпустят живым. Известно, чем одарят в разбойной шайке, ножом иль кистенем. Едва окрестит, так и зарежут сразу – не зря грозили, де, мол, есть некрещеные, по одному на двор...

И утешался тем: коль муки вытерпит и примет смерть от рук безбожных татей, искупится свой грех. Душа спасется!

А лиходей на одре, уже крещенный и причащенный – воистину, дитя безгрешное! – не помирал до вечера. С родней простился, с детьми и стариками, воды просил и очи закрывал, и Аввакум, воздув кадило, пел отходную, но в который раз он оживал, и ледяные длани согревались. Касался рясы иль хватал за руку:

– Постой-ка, батюшка... Я зрел тебя... Сдается, служишь ты в часовне придорожной, у Селища.

- Да нет, Христос с тобой. Я странствующий инок.
- Но образ твой в глазах стоит...
- Допреж не виделась...
- Не ты ли, поп, на прошлой пятнице с иконою ходил по большаку да созывал народ?..

Чтоб крестным ходом супротив пожара?.. Вон как горит – повсюду дымно...

- Се был не я...
- А взор твой мне знаком... И лик...

Так длилось до захода солнца, и токмо вкупе с ним разбойник окрещенный угас незримо и спокойно, как будто бы заснул. Распоп в тот час же начал панихиду, однако кликая по имени покойного – суть, тезоимца Аввакума убиенного, молился о себе и отпевал себя. Доподлинно и с чувством справив все по чину, убрал кадило и встал пред стариком, как пред судьей.

– Я все исполнил, старче. Ужо и мне пора. Настал черед.

– Добро, сам провожу тебя, – промолвил тот и, кликнув отрока, коего ласкал и по головке гладил, неспешно двинул в лес.

А после урагана благодать стояла – не высказать словами: должно, в Раю бывает так, и то не каждый день. Хоть солнце село, но свету еще много, лазоревое небо, сурмяный воздух и легкая прохлада; и чудо – оправившись от ветра, деревья с земли восстали, вздохнули и замерли. Нет и следа от бури! И несмолкаемо повсюду свист райских птиц. Не щебет, не скворчанье – суть литургия!

В сей лес вошли, как в храм. Разбойник старый напередидет, с сумой и посошком, а сзади отрок с топором за опояской. Еще приметил Аввакум, креста на шее нет, знать, он будет кончать. Приступит незаметно в нужный час и срубит голову – затычку на сосуде, в коем душа живет. Отпев себя, распоп меж ними шел и даже не молился, а чтобы смерть не ждать ежесекундно, сложивши руки на груди, смотрел вперед и слушал пенье птиц.

Изрядно прошагали, пора бы уж стемнеть, ан свету не убавилось. В иной бы раз он стал гадать, чьей силой явлено свеченье и нет ли в чуде сем антихристовой воли. Сейчас же шел и токмо благодать вкушал. Да и старик, должно, объят был тем же чувством – ни слова не сказал, не оглянулся, ровно он один идет. А вывел на дорогу, встал и отрока спросил:

- Пошто живым оставил?
- Сей человек – святой, – промолвил тот. – Рука не поднялась.

– Добро. – Старик налег на посох и глянул на распопа. – Коль раз бы дрогнул, забоялся – в тот миг бы ангел смерти взмахнул десницей. На что же душу мучить страхом?.. Поелику святой, то за труды дар будет царский.

Раскрыл суму и свиток вынул – потертый, древний, ветхий. В науке книжной искушенный, распоп мгновенно ожил, рукою робкой взял его и тут же, не сдержавшись, распутал бечеву и развернул пергамент заскорюзлый... И замер, пораженный.

## 4

Вдоль костромской дороги леса сгустились, потемнели, не стало ни полей, ни рубленых прогалов, ни пожен и пожегов. Лишь изредка, когда карета, преодолев подъем, въезжала на увал, на миг короткий открывалось солнце. И вместе с ним боярыня легко вздыхала. Ей чудилось, мрак отступил, тем паче дым, с болот несомый, и вот сейчас откроется простор земной, сияющее небо, и вместо гнуса липкого, лесного шума и колдовского скрипа боров дремучих лицо овеет ветер, насыщенный пылью и духом трав цветущих. Коль это бы случилось, она в тот час велела б остановить весь поезд, и без служанок, сама б открыла дверцу, ступила наземь и, сдернув плат, кокошник золоченый, простоволосою пошла и не молилась бы, не воздавала бы славу, что Бог пронес сквозь даль разбойничью, сквозь грязи, смрад болот, а просто подышала волей да сбросила грудную тяжесть и призрак мысленный, греховный...

Лишившись власяницы, Скорбящая страдала от боли за грудиной. Иль чудилась она, или себе внушала болезнь телесную, однако ж дыханья не хватало, и под парчою тесной ломило грудь. И хворь сия к ней привязалась в одночасье, в канун отъезда из Москвы, когда, с духовником расставшись, боярыня молилась – просила ангела в дорогу. Склонилась в пояском поклоне и замерла, услышав звук пастушьей дудки. И верно, прав был Аввакум – се бес прельщал, явившийся во сне, однако не сдержалась, заслушалась. И кровь, от головы отхлынув, вдруг перси опалила, в груди загло огнем, вскружились образа перед очами и сердце загорелось, но жар был не болезненным – истомным, сладострастным. Забывшись, Феодосья выпрямила стан, со стоном потянулась, сгоня ломоту приятную от персей ко суставам:

– Пошли мне ангела в дорогу!.. – Мгновеньем позже спохватилась, крест сотворила двоеперстный и вороватый: – Спаси – помилуй!..

Хворь грешная в тот час же отпустила, но растеклась по плоти и, разума достав, там утвердилась тайно, как семя сорное.

– Где власяница? Где?

Под руки попадали одни обрывки...

Она пыталась их связать, но конский волос иструх и в прах рассыпался...

Ей бы бежать ко старице Меланье, чернице-схимнице, кою держала при дворе, пасть в ноги и поведать все, что приключилось ночью. Она бы, дошла в делах духовных и знающая суть женскую, враз рассудила бы, что в яви было, что во сне, где бесы мучили, где ангел к ней являлся.

Черница-схимница, воительница духа сумела б отделить зерна от плевел...

Скорбящая ж потрафила себе, пожалилась на долю:

– Вдова я, мужа нет над мной... Да с тем и в путь пустилась.

Двенадцать лошадей, запряженные цугом, несли карету по горам, свергая ее вниз до замиранья духа, в гущу дерев, в лесную темень, или вздымали к свету. Но беспокойной путнице повсюду не хватало ни солнца, ни простора, ибо на гребнях лес вековечный на миг лишь расступался и вновь стеной сходил, накрыв боярыню сырой волной.

И вот однажды в сем лесном просвете, когда у окоема свет вольный полыхнул и на короткий миг согнал лесную темень, боярыня позрела всадника. Малиновый кафтан, расшитый серебром, соболья шапка и поза горделивая – не скажешь вор иль лиходея, однако же тревога охватила. Конный дозор шел впереди, и всякий встречный-поперечный с дороги убирался прочь, покуда не проедет поезд. Ужель так осрамилась стража, если чужак неведомый не спешился и шапку не сломил, а встал на пути и пляшет на коне, карету поджидая?

Кто на сие решился, кто заступил дорогу? Коль не разбойник – знать, отрок несмышленный или холоп, отпущенный на волю и дерзостью исполненный. След проучить...

Она за шелковый шнурок, давай звонить, но стражник на запятках не внял или оглох – никто не отозвался. Тогда боярыня оконце отворила и, сдерживая гнев, хотела крикнуть, мол, слепые, позрите, кто впереди и по какому праву дорогу заслонил. Но блаженный Федор, бегущий от Москвы за поездом, босой, оборванный верижник, вскочивши на подножку, к каретному оконцу приник и белозубо ухмыльнулся:

– Ни-ни, Скорбящая! Не ратуй! Нет никого вокруг!

– Да как же нет? – все более волнуясь, спросила Феодосья. – Позри! Се всадник на дороге!

– Ну, полно! Где?.. Ах, конный? Да се же бес верхом!

И в тот же час видение пропало! На месте, где скакал чужак, лишь взвилась пыль и вихрь сей, пронизанный лучами, вспыхнул серебристо и растворился в воздухе... Чудно!

– Все дьявол искушает! – верижник устрасился. – Се он, треклятый! Зрю, зрю его! Он заведет тебя в леса и там погубит! Почто ты едешь в Кострому?

– Да суд рядить, блаженный. В имении моем порядка нет и грех творится...

– Святой провидец Аввакум куда велел идти? В обители, молиться!

С тех пор, как Аввакум привел его из Устюга и в терем поселил, боярыне покойней стало. Убогий сей верижник горбатым был, хромым на обе ноги и скрюченный ходил, задравши вверх главу и глядя в небо. Однако в две недели всех бесов усмотрел, что прибудились с нищетой и голью перекатной, всех испытал и уличил, и выгнал вон. Однако сетовал, что самый главный бес еще остался, прикинувшись блаженным или бабой, мол, вся нечисть чаще в них вселяется. И много лет подряд ночами ходил по терему, смотрел и слушал, у прибылых людей искал рога и ноги шупал, нет ли копыта.

И в ту же ночь, как Аввакум ушел через окно с семью рублями, явился Федор и так же зашептал:

– Ступай за мной! И крест возьми!

Боярыня пошла с крестом, а он ткнул пальцем в Афанасия, который на скамейке спал, затрясся и изрек:

– Се он! Зрю во лбу рога!

– Да это ж Афанасий, странник, – Скорбящая рукой махнула. – Привиделось тебе...

– Гони его! Ударь крестом, сама позришь – козлиные рога!

– Иди-ка спать...

– Бес, бес он! Но токмо тихий, чтобы не признали! А в тихом омуте все черти водятся. Ударь его, ударь! Проснется бесом!

Из всех блаженных Афанасий был самым невзрачным, смиренным и печальным. Не звал народ с собой, и не пророчил на площадях, и правды не кричал; обычно робко улыбался и все толмачил о Палестине, дескать, там до сей поры следы Христовы есть: где Божий Сын ступал, там травка выросла. Будь то пустыня или холодный камень – везде цветет трава. И если подождать, когда созреет, и семя взять, то можно принести на Русь и всю ее засеять. Тогда наступит мир и благодать. Голь, что жила при доме, имела страсть одну – взирать на казни. Лишь слух пройдет, как божьи человеки, хромые и слепые, горбатые, больные – все до единого толпою бегут на площадь, дабы встать поближе. Иные лезли к палачу, едва не под топор, чтоб смерть Позреть, и возвращались в кровавых брызгах. И токмо Афанасий ни разу не бывал на казнях и их страшился. Оставшись на дворе один, он прятался в конюшне или в навозной куче, а то отроет ямку и так в земле сидит, пока убогие не возвратятся с казни.

Скорбящая его жалела и посему сказала строго:

– Се Божий человек, не вздумай трогать, – и погрозила пальцем: – Не смейте обижать! Смотри, блаженный, за Афоню с тебя спрошу!

– Ох, быть беде! – вослед предрек ей Федор. – Спихватишься, а поздно будет!

Сейчас он увязался с поездом, то впереди бежал, чертей гоняя, то отставал и след крестил, но более держался возле кареты, и звон его вериг привычен становился уху.

– Какой тебе урок? Идти до Соловков молиться! – Он погрозил крестом. – Почто ослышалась? Годи ужо, приедет Аввакум!..

Откуда было ему знать, куда духовник посылал и по какой дороге? В тот миг боярыня не вняла его речам, ибо покоя не давал тот всадник, а Федор вдруг на подножку встал и застучал в окно.

– А что ты, матушка, печальна? – спросил участливо и будто невзначай. – И блещут очи... Не заболела, чай?

– Спаси Христос, здорова... Ты бы в повозку сел. Немудрено свалиться, под колесо попасть.

– Что мне повозка? Там сенные девки, пристанут и щекотать начнут. А то велят порты спустить... Им-то потеха, а мне до слез. Уж больно не люблю щекотки!

– Мои сенные девки? Да полно, Федор! Чисты, как голубицы, и смиренны. При виде мужа очи опускают...

– То при виде мужа! А со мной... Притворны, матушка, ох, как притворны! Обижают!

– Почто же ты молчал? Да я их в монастырь! В послушницы!..

– Отправь! Ох, матушка, отправь! Проходу не дают... Пусти в карету.

– Ради Христа – садись. – Она и дверцу распахнула, и помогла войти – суть, цепи придержала и крест пудовый. – Токмо вот вши...

– Ни, преблагая! Ни блох, ни вошек нет. – Он завернул рубаху и показал изъязвленное тело. – На-ко, позри! Не моюсь, рубищ не меняю, а чист, поскольку свят. И дух идет, как от иконы мироточивой, благостный и сладкий...

Под холстяным рваньем она позрела не мощи страстотерпца – плоть мощную и молодую, сплошную перевязь из мышц и крепких жил. И запах впрямь был благовонный...

Рука непроизвольно потянулась, чтоб прикоснуться, однако Федор рубаху опустил и вкупе с ней вериги.

– Ан, нет, не можно трогать! Поелику святой!

– Сколь же годов тебе? Мне мнилось, много...

– Мой возраст роковой, – на ухо прошептал. – Мне, как Христу: всего-то тридцать три...

Смущенная, она лишь осенила себя крестом, и в следующий миг дух ее замер. Послушные и сдержанные кони вдруг понесли с увала во всю прыть, и тщетны были старанья кучера и верховых. Карету растрясло, подушки полетели, слюда в окошке лопнула и обратилась в пыль. А Федор подхватил, обнял, чтоб не мотало, прижал к себе и так держал, дыханьем обдавая ее лицо.

Боярыне бы разорвать сии объятья и молиться, на Бога полагаясь. Не приведи Господь, постромка разорвется, оступится ли конь, не сдюжит колесо – она же полетела, утратив тяжесть тела.

И хворь греховная, почуя волю, взмахнула крыльями, как птица, оваяла всю плоть и воспарила!

Скорбящая шептала: храни, Господь, помилуй, Боже, спаси, Пречистая, да токмо лишь устами. Сама ж не ведала ни страха смерти, ни жажды покаянья, ни греха. И сей полет не прекратился, не дрогнула душа – мол, что со мной творится, когда карета вознеслась на холм, и встали кони. Тут Федор задрожал, затрясся и с искаженным ликом, веригами бряцая, прочь вылетел, на землю павши, закружился и выгнулся в дугу – падучая напала! Уста же вспузырились пеной.

– Помилуй, Господи! – Ее обуял страх, хотя болезных лунной хворью немало повидала и в собственном дворе, и по Москве, когда носила подаянье.

Духовный брат был страшен, и мысль одна, что миг тому назад вот эти скрюченные руки держали ее стан, вдруг показалась мерзостной. Пять лет давала ему кров, но не слыхала, чтоб блаженный страдал падучей. Федосью передернуло, брезгливый ком, будто смола, излился из

души и запечатал горло. А было бы след помочь ему – по-христиански ли взирать и оставаться безучастным? И духовник учил – переступи, наполнись мужеством и, сострадая, обмой чужие раны, и тебе воздастся. Христос не брезговал больных и прокаженных!

Она же спряталась, подушкой заслонила и дернула шнурок звонка. И в тот час слуги с запяток соскочили, схватили Федора, притиснули к дороге и нож просунули между зубов.

– В телегу положите! – им крикнула боярыня, хотя по совести и чести к себе бы взять, в карету...

– Так места нет, – засетовали слуги. – Поклажа да колеса запасные. Дорога ж тряская, худая – не грех и свалится, да под копыта...

– Сгоните девок вон!

Блаженного в возок втолкнули, с санными девками, и тронулись. И еще долго Скорбящую то бил озноб брезгливый, то руки чудились на стане, когда съезжала с горки. Она крестилась и плевалась, и утешалась тем, что кони понесли, а Федор ее обнял и держал, чтоб не разбилась. А что вскружилась голова и замер дух, так это же всегда случается, когда карета мчит с горы...

Но червь сомнения грыз, буравил душу: все вроде б так, и все иначе. Мысль-то греховная была! Был миг, когда она, закрывши очи, утратила рассудок, ум и позабыла, чьи руки обнимают, и не молитвам предалась, не силам Богородицы, а чувствам мерзким. Однако скоро дорога укачала и сон навеяла. Феодосья потянулась.

– Приеду – помолюсь. И Бог простит... Не инокиня я, а суть вдовица...

И придремала ненадолго, пока карета поднималась в гору. Когда же вниз скользнула, проснулась и в тот же час позрела впереди неясный сполох и свет, мерцающий среди леса. Могучий кучер зрак<sup>2</sup> заслонил спиной, и все пропало. Но через несколько минут, когда шальные кони взнесли на холм, ей вид открылся странный.

Упряжка бег замедлила, карета потряслась на корневищах больших деревьев и скоро встала.

Пред нею на дороге вновь очутился всадник – буланый конь плясал, хвост дымчатый, седая грива. И на коне сем, в малиновом кафтане, расшитым серебром, светлородый молодец – взор волчий, бровь взломана и стиснуты уста. Зрел на боярыню, как будто на добычу. Она ж его узнала!

– Святая Богородица, – себе пролепетала. – Ужели гость ночной?..

Ей стало страшно, любопытно, рой смутных чувств довлел над разумом. Хотелось выйти из кареты и, подойдя к нему, взяться за стремя, сказать, как прежде говорила:

– Ну, здравствуй, странник. Входи, дом путникам открыт.

И в то же время век опустить боялась, чтоб не сморгнулся и не скрылся призрак. Шальная хворь в груди, взмоложенная, будто пиво, взыграла и взбурлила волною пенной.

– Спаси-помилуй! – молвила. Душа же прошептала: «Как дивно, чудно... Ведь я тебя узнала. Все помню – взор, уста...»

Ослабшая, но дерзкая рука сама открыла дверцу, нога скользнула вниз, ища ступень, и тут пред нею зазвенели цепи.

– Ни-ни, сестрица! Не смей ступать! – блаженный Федор перед нею встал, живой, здоровый и веселый. – Ужель не зришь, какое место?!

Малиновый огонь растаял в одночасье, а серебро шитья осыпалось на землю, словно пепел...

– Сон или явь – не ведаю... Вот здесь стоял! Блаженный засмеялся:

– Глаза твои горят! Огонь священный!.. И посему не видишь, где велела встать. Се засека была против польской шляхты. Зри! Эвон как лес украшен! Бубенчики звенят...

Потыкал пальцем в небо. А там, в ветвях осин, пробившихся сквозь гниль и тлен порубов старых, висели кости вперемешку с обрывками одежд, доспехов, сабель. Сии деревья горькие,

---

<sup>2</sup> Зрак – вид.

стремительно возрастая, на кронах поднимали останки павших. Все, что не склевали птицы, не пожрали звери, не источили черви – все обратилось в мощи, очищенные ветром, отбеленные солнцем и стужей зимней. На сухожилиях свисая, прах этот слегка позванивал от трепетной листвы, стучали черепа пустые, ровно коровьи ботала.

Да страх уж более не брал боярыню, вид давнего побоища, зрак смерти, тлена – ничто уж не пугало сердце. Пред очами, как прелесть бесовская иль Божье наказание, стоял тот всадник...

Впервые он явился в год смерти мужа, в пору великой скорби, когда на плечи свалился тяжкий крест – одной, без мужа управлять десятком вотчин. И, слава Господу, послал ей Аввакума, который дух из праха поднял и укрепил тем, что наставил не о горе думать, не себя жалеть – страдать за ближних, за гонимых, за нищих и убогих, за тех, кто пренебрег земным во имя веры древлей.

Но вот однажды ночью в ворота постучался странник и попросил приют. Она ж в то время молилась еженощно, почти что не спала и всех, ищущих приюта, сама встречала, поскольку Аввакума в Мезень сослали. А духовник велел расспрашивать входящих и на листки писать. Спустившись из домашней церкви, она позрела не нищего бродягу, не хворого калеку, не оборванца, а суть богатыря. Обыкновенно сор людской валится в ноги, блажил, кричал, шептал, протягивая руки – просил то хлебца, то вина, то денег. Сей странник же подпер главою матицу, расправил плечи и взор свой волчий уставив на Скорбящую, глядел, как на овцу. Одет хоть и не ражно, в тулуп овчинный, но стать не скрыть.

Она в ту пору укрепилась и духа не теряла ни перед кем. Здесь же сробела и смутилась.

– Кто будешь, Божий раб? – Уста задревенели.

– Не раб – боярин я и князь, но ныне странник, – сказал он гулко. – А именем Василий Вячеславов.

Духовник повелел терпимой быть и непреклонной, что б рядом ни случилось. Собравшись с силами, однако же, очей не поднимая, она спросила:

– Откуда и куда путь держишь, странник?

– Жену себе ищу.

– Так и ступай, ищи. Мы привечаем лишь страдальцев за веру древлюю, убогих и бездомков.

– Я суть, бездомок и убогий, покуда не женат.

– Но веры ты какой? Никонианство принял? Вон, шапку-то не снял...

Боярин треух с головы стряхнул.

– Да старой веры я. И за нее страдаю, поди уж, лет шесть сот.

– Чудно ты говоришь... А что ты ныне ищешь?

– Сказал тебе, жену.

– У нас не водится невест. В сем доме скорбь, страдания да слезы. Здесь люди веру ищут. Иди куда нито.

– А ежели счастья ищут и за него страдают – не ко двору?

Боярыне его б прогнать иль кликнуть стражу, чтобы спровадить за ворота... Она ж смутилась еще больше.

– Добро, ночуй... И поутру ступай своей дорогой.

Он засмеялся тихо, взор потеплел на миг.

– Ан, кончилась дорога. У твоих ворот.

– В сем доме токмо скорбь...

– Отвею скорбь, – вдруг руку взял и приложился. – Прослышал, ты овдовела и теперь свободна. Я за тобой пришел.

Она содрогнулась! Неведомый огонь пронизал всю с головы до пят, выиграло сердце, помутился разум, рука обвисла плетью и страннику на волю отдалась. Он длань поцеловал, пощекотал брадою.

– Так долго часа ждал... И вот он пробил. Возьму тебя.

– Да кто ты, странник? – Душа валилась в бездну. – Как смеешь?... Я же в скорби... Оставь меня, оставь... Впервые зрю тебя.

– Забыла, знать... Я на дуде играл. На твоей свадьбе... А ты игрой зачаровалась, хотела при дворе оставить, но муж твой не велел. Меня и отослали...

Бесстыдною рукой плат с головы сорвал и косы распустил, впустил и вместе с тем как будто б вздыбил память. Был молодец с дудой! Да славно так играл! С тех пор и чудится пастушья дудка...

Но кто, откуда и как на свадьбе очутился? И образ напрочь стерся...

– В то время я служил, – признался он. – В приказе тайном, у Бориса. Покойный деверь твой многожды слышал, как на дуде пою. И дабы улажить тебя, призвал на свадьбу. Чтоб взвеселить. А помнишь времена, когда ты веселилась?

– Игра мне слышится, и помню взгляд...

Он в тот же час дверь на засов закрыл, плечами шевельнув, сронил тулуп и, дудку вынув, приложил к устам. Чудесный тихий звук наполнил терем и будто б вздул его, как парус, и вдаль понес – кружилась голова...

Но встал рассвет, и странник в путь собрался.

– Пора мне, Феодосья...

Как токмо замер звук, и сердце замерло.

– Когда ж еще сыграешь?

– Когда вернусь...

– Далек ли путь твой, князь?

– А путь мой за три моря. Ну, все, прощай!

– Еще единый миг! – Боярыня к ларцу и ладанку достала. – Постой!.. Возьми сию вещицу. Однажды я в карете ехала... Да впрочем, ладно, в сей час и недосуг. Духовник сказывал, безделица сия суть суеверие. Была бы польза от нее, коль сделана была б из золота. Де, мол, в дороге охранит от глада, коль обменять на хлеб. Она же – медь зелена... Кормилица моя, Агнея, едва лишь на нее позрела, от восхищенья замер дух... Не знаю я, где правда и где ложь – от сердца жертвую, она мне помогала. Однажды лиходеи наскочили и ну стрелять!.. Возьми, авось поможет. Прими сей оберег и, не снимая, носи на вые, вкупе с крестом. Он сбережет тебя от смерти на всех путях, куда б ни шел. Агнея так сказала... Ну, наклонись же, князь...

Он молча голову склонил.

– Благодарю тебя...

## 5

Она признала всадника, хоть с той поры минули годы – шесть целых лет и двадцать пять недель. Тот странник не являлся, ну, ровно в воду канул, хотя сулился прийти весной, когда закончится срок скорби. Боярыня в великой тайне от Аввакума ждала его весь скорбный год, потом другой и траур не снимала. На третьем же уверилась, что странник сей – суть искушение, призрак, демон, пришедший совратить. Когда ж в отчаянии духовнику призналась, тот самолично власяницу сплел, поставил на колена, сорвал одежды и прежде плетью высек и обрядил в вериги.

Да спали путы, ранящие тело, в прах разлетелись: то ль Божьим промыслом, то ль конский волос сгнил...

Теперь душой водил Господь и собственная воля, но небеса молчали, а дух растерзан был под волчьим взором.

Не в силах совладать с собою, она велела ехать вперед, сама же склонялась к мысли вспять повернуть. Коль грех такой творится, коль всю дорогу блазнится и сил нет помолиться – скорей назад, домой и к матери Меланье, под сень обители домашней, под крепость духа и ясный ум сестер. Недобрый путь, не в добрый час, так лучше уж оборотиться в Москву и в другой раз когда-нибудь позреть свои владения. А то и вовсе махнуть рукой на костромские земли, на промыслы, на сорок деревень, на тыщу душ, доставшихся в наследство по смерти мужа. Взять все и отписать страдальцам старой веры или отцу духовному, который прозябает в гонении и скудости...

И возвратилась бы, пожалуй, и отписала, да сквозь туманный взор и разум замутненный о сыне вспомнила. Как вырастет, что скажет? Именья промотала, чем стану жить?.. А может, ничего не скажет. Да все одно, покуда не матерый, не женатый, самой придется управлять, судить, распоряжаться...

Боярыч занемог и на Москве остался под попеченьем няnek и с матерью в дорогу не просился, хоть отпускал с великой жалостью. Имея юношеский возраст, наученный господству и боярству, Иван не по годам был равнодушен ко всем имениям, будь то отцовские иль дядькины. Ему бы уж людишек учить кнутами за ослушание, нрав пылкий свой являть пред дворней, чтоб славу разносили по владениям о строгости боярыча... Он норовил уединиться в покоях детских иль обитал с юродивыми, что толклись у терема на Разгуляе, бывало, на конюшню брел, но не седлал коня, а гладил гриву и кормил с ладони. Не хворый был, не малахольный, однако не имел азарта ни к светской жизни, ни к духовной и при сем неведомо по чьей науке или уж волей Божьей умом и сметкой владел невиданной для юных лет. Иной раз Феодосье от слов его то дивно становилось, то чудно или вовсе жутко.

– Тебе служить царю, – она внушала, – отцом завещано... Твой род от веку к царям приближен был. А посему как оженю, так ко двору отправлю. Служа, не потрафляй подобострастием и прочим униженьем. Ты суть боярин, сын государев, не раб ему, и он не господин.

– Убогие кругом, – казалось, невпопад ей отвечал Иван, – куда ни глянь... Вчера дрались за корку, кровь пустили, сегодня же с огнем побаловали... Ой, маменька, сожгут наш дом.

А при дворе боярском их жило до ста, зимою и того поболее: с первым зазимком на Разгуляй тащился нищий люд, прослыша о сердобольном нраве вдовы Скорбящей. Так нарекли ее в Москве, ибо седьмой уж год по смерти мужа носила траур и всюду появлялась в одеждах черных и украшении единственном – колечке обручальном. Всех привечала без разбора и скоро заселила все людские избы, конюшню, поварню; велела выстроить странноприимный дом, но когда и там не доставало места, пустила в терем, в нижние палаты. Однако же убогие – вся эта голь срамная, сор людской – подобно тлену, ползли все выше, выше, покуда не заполнили мужскую часть дворца и не достигли женской – суть вдовских покоев.

Особо приближенный Федор, духовный брат, любимчик Аввакума, и два юродивых Афоня с Киприаном, чтобы гонять чертей в ночную пору, ложились под порог...

– Всяк нищий ближе к Богу, – Скорбящая вздыхала. – Не ведает ни суеты мирской, ни хлопот живота – святые люди...

– Святые, маменька, святые, – соглашался сын. – Куда ни глянь – повсюду. И у престола все святые. От них уж места нет...

А государь не забывал руки кормильца своего, Бориса, и брата его, Глеба, – ныне покойных, и помнил их наследника, того, кто был обязан продлить боярский род, – Ивана. Велел однажды привести и, по-отечески позрев на отрока, промолвил тихо:

– Вижу... Весь в отца... Оженишь – присылай, пусть служит.

К исходу дня увалы укачали, и Феодосья забылась на подушках; в сиюминутном сне себя позрела – будто стоит на берегу в малиновых одеждах с серебряным шитьем, а под ногами вода течет. Как в зеркало, в нее и посмотрелась.

– Да я ли это?! – с испугом отшатнулась и в тот же миг взглянула воровато. – А я еще красна... И младость, и румянец, и губы алые...

Тем часом переполох возник, боярыня очнулась и услышала голоса, свист громкий, ухнула пищаль.

– Ату его! Ату!

Карета и две повозки стояли на дороге, в плотном кругу из конной стражи – шум, шевеленье, крики, гнус реет плотною завесой.

– Что там стряслось?

И стражник, стоящий на запятках, к окну прильнул.

– А то, госпожа, – разбой!

– И много лиходеев?

– Один был, конный! Из лесу выехал и прям к карете! Другие, верно, по деревьям сидят! Погоню выслали...

Спустя минуту вернулся сотник – лошадь в пене, глаза блистают, – застрожился на стражу:

– Почто стоите? Рысью ехать! Эй, кучера, гони!

Феодосья отворила дверцу, знак подала – ко мне. Сотник не спешился, а лишь склонился к седлу, тревогою дохнул:

– Смеркается, боярыня! А место тут худое!..

– Настиг ли конного?

– Да ни! Утек! Коли не шапка, следа бы не оставил...

– Он шапку обронил?

Удалый сотник чуть смутился, добычу из сумы извлек.

– Не то, что обронил... В карету бросил. И ускакал...

Соболья оторочка и верх малиновый, тончайшего сукна, подбита шелком... Боярыня в руках ту шапку повертела и обронила с леностью, дабы не выдать чувств:

– Убор богатый... Чего же бросил?

– И я подумал, госпожа! На что бросать?

– Какой кафтан на всаднике? Такого ж цвета и серебром расшит?

– Да вроде бы такой...

– И конь буланой масти? Тут сотник взволновался.

– Но ты же, матушка, спала... Когда разбойник сей из лесу выскочил! И чуть в карету не ворвался! Какой он умысел имел?!.. Не стрель я из пищали...

– Должно быть, умысел злодейский, – чуть усмехнулась Феодосья. – Зачем вот шапку бросил? Не знак ли подавал?

– Сдается, знак. Коль его люди на деревьях сидят...

– А ну-ка, трогай! Не рысью токмо, а в галоп. Поедем быстро, с ветром. Сколь верст осталось до моих владений?

– Все двадцать будет, – сотник не коней жалел, а шапки отнятой. – Да госпожа, ведь лошади устали! Нам бы сие глухое место перескочить... Далее спокойно, тихо, не шалит никто, и на ночлег не грех остановиться, и стан там есть... С твоим покойным деверем однажды ехали...

– Гони! Хочу в свое поместье, в покоях ночевать. И не в карете спать – на пуховых пери-нах. К тому же я жена, в лесу мне страшно...

Соболий мех на шапке казался колким, знобким, ровно узор морозный, он щекотал ладони и ланиты, но отчего-то становилось жарко...

Взбеленные от пены кони домчали лишь к полуночи, и дальний сродник Феодосьи, Офелий Бородин, поместьем управляющий, сам распахнул тесовые ворота, низко поклонился:

– Добро пожаловать, боярыня! Добро пожаловать, сестрица! Ужо не ждали в поздний час...

Однако же при этом вся челядь летала по двору, подобострастно суежилась подле кареты и коней, мелькали светочи окрест и свечи в окнах терема. Земля качнулась под ногами от долгого пути и поплыла, служанки подхватили и повели к крыльцу. Офелий кланялся, бежал чуть сбоку и впереди – дорогу освещал и лебезил при сем:

– Ах, матушка! И как решилась нас навестить? Путь-от не близок! Да и шалят!.. Коль известила бы, людей послал навстречу! И слава Богу – пронесло! На милость Божью уповаем – ей-ей... Жива-здорова! Пожалуй-ка в хоромы, преблагая! Там уж и стол накрыт. С устатку да с дороги...

Знал, пес, кто едет во владенья, с каким задельем и по нужде какой. Задолго знал, подика, и душа сидела в пятках от одной мысли, что грядет ему, коль госпожа отважится сама сюда явиться. И лучше бы не пресмыкался, не гнул спины и не стрелял очами, взор норовя поймать. Молчал бы лучше или уж винился с достоинством, как подобает мужу...

– Спать хочется с дороги, – проворчала, не в силах ни пир пировать, ни суд рядить, тем паче скорый. – Где тут мои покои?

– Не смею возражать, Скорбящая! – Офелий пятился и двери отворял спиной. – Пожалуй почивать! Перины взбиты, а покои сам ладаном дымил. Велел иконостас поставить! Я слышал, ты, благодетельница, весьма старательна в молитвах и молишься по старому обряду. В народе бают – истинно святая!

– Изыди с глаз моих, – боярыня шагнула за порог, но сродник вороватый застыл, как стражник, у дверей, возвысив над главою светоч.

Поместье в землях костромских досталось по наследству от Бориса, и все здесь было, как при девере. Кормилец государев любил богатство, пышность, и по его приказу опочивальню нарядили по-царски: ковры персидские, парча, шелка, а ложе все во злате, и на резных столбах узорный кров – суть, балдахин. За ним иконостас с лампадами и множество свечей пылающих – Офелий расстарался, того гляди, дом загорится... Боярыня служанок оттолкнула, присела на постель. В сей час бы суд свершить! За косы оттащить и плетью по хребтам, чтоб не тво-рили срама! Ишь, что удумали – над страстотерпцем надсмеяться, позор чинить убогому. Но вспомнила, как Федор рубаху задирает, показывал святые мощи – и уняла свой пыл.

– Ступайте спать... Сама...

Они в тот час же удалились, и лишь Офелий все еще бдил у двери, сопел и что-то бормо-тал – возможно, и молился, окаянный... К имению он был приставлен еще покойным мужем и вроде бы служил исправно, а умер Глеб, вмиг разнуздался и, видимо, решил, он господин здесь. Дойдут ли руки у вдовы Скорбящей? Таких поместий у нее чуть ли не дюжина, где ей поспеть, а Глебович так мал еще и, слышно, не жаждет управлять...

В опочивальне стало душно, жар от свечей клубился и колыхал парчу – где тут уснуть? Сбирая огоньки, как мотыльков, боярыня все свечи погасила, оставила одну и окна отворила. Мгла ворвалась в покои вкупе со звездами и криком птиц полуночных. Она вздохнула облегченно, после чего толкнула дверь.

– Иди-ка с Богом, басурман...

– Не погуби, сестрица! – Сродник на колена пал и от волнения коснулся бороды огнем – запахло мерзко. – Детей двенадцать душ!..

– Все от одной жены?

– Меня оговорили! Ей-ей же, чист душой и нрава кроткого! По-христиански жил, с одной женой, она и деток нарожала. Коль наболтали, с вдовицами блудил, и понесли они, а дабы грех укрыть, детей жене отдали – ложь несусветная!

– Завтра мне ответишь, – рукой махнула. – Ступай и помолись.

Послушавшись, побрел к двери, однако спохватился, десницу вскинул с двоеперстьем.

– А ежели сказали, что я по новому обряду... И кукишем крещусь, то лгут!

– И не гневи меня!

Офелий сник, обвьял и, за порог шагнув, дверь притворил смиренно, однако ветер вновь распахнул ее и загасил свечу. Скорбящей стало страшно.

– Пстой, Офелий!.. Пришли мне няню! Тот вмиг вернулся, осветил ее и выпучил глаза.

– Кого прислать?

– Да нянюшку мою, Агнею! Жива она?

– Жива-то вроде бы жива, – замялся сродник. – Но больно уж стара и разумом... Ну, истинно, дитя. Не ест уж и не пьет...

– А кормишь ли ее?

– Не то! Как ты велела, госпожа! Но видит Бог, за стол с собой сажу – не прикоснется к пище. Все просится домой...

– Домой?.. Куда ж домой, коль родом из сих мест?

Офелий ожил и бородой паленой затряс, и будто засмеялся:

– О том и речь! Что малое дитя!.. Нарядится, косу сплетет, подвяжет ленты и ходит простоволосой, словно бы девица. Эк срам какой! Уж я и под замок сажал... в ее светлице! И в храм силком тянул, чтоб исповедать и причастить – куда там...

– Она и в храм не ходит?

– Помилуй, благодетельница! – Он окончательно воспрял и стал как будто сердобольным, загоревал. – Ведь я ей не указчик, не воспитатель, а волею твоей всего слуга. В храм ни ногой, даже в Великую седмицу, и дома – лба не перекрестит. Не знал бы ранее, подумал – басурманка...

– Лжешь, окаянный! – Скорбящая свечу затеплила и поднесла огонь к лицу Офелия. – Молва была, ты нянюшку мою в храм не пускал и голодом морил...

– Да ей-же-ей! – тот утрашился и закрестился крупно, ровно дрова рубил. – Я пред тобою ныне, как пред иконой!..

– Довольно, плут! Ступай и позови Агнею!

Домой, в родные костромские земли, кормилица давно просилась, еще при Глебе, мол, отпусти ко правнукам, коль не понянчу, то хоть взгляну на них, а там и умирать пора. На что старуха, когда младых служанок вокруг полно, кухарок, подавальщиц и прочей челяди? Тебе уж нянька не нужна, сама боярыня, достойный муж и сына пестуешь... Ведь я теперь что старая трава: засохла, пожелтела, уронила семя и ныне лишь ноги путаю. Чуть дунет ветерок – и полегла... Негоже зреть на немощ и скудоумие, когда кругом весна и зелень свежая, и цвет искрится... Не отпустила бы, но стала замечать, как Ванечка – боярский сын и в скором стольник царский, опора государя, заместо воинских забав, ученья книжного и прочих дел мужских, к старухе начал лгнуть. Как почивать, так кличет и сказы слушает, словно дитя.

Однажды вечером вошла и, затаившись у порога, послушала Агнею и опечалилась – так детством напахнуло. А няня сказ вела про Рай земной, про Беловодье. Де, мол, в далеком далеке, за реками большими и лесами, за волоками и горами есть чудная страна – суть остров, омытый водами, кои светлее хрусталя и чище света. Там, на восьми столбах железных, стоит Сура – суть чаша, куда по вечерам ложится солнце. Когда же утром встанет, на тепленькое место слетают звездочки с небес – насыплются доверху, с горкой, и так весь день лежат, сверкая, как алмазы. И токмо месяц вольный: захочет – сядет в чашу, а нет, так в небе остается. Сей остров, Беловодье, страна покоя, благодати, суть Рай земной, где люди отдыхают. Не ведают они ни ночи, ни тьмы, ни Бога и ни сатаны, не молятся, не бьют поклоны, а токмо утром провожают солнце да вечером встречают с песней. Земли не пашут и хлебов не сеют, поелику на деревьях растут плоды, в долинах виноград и овощ всякий – всего обильно. Но сложа руки не сидят. Мужики там – златокузнецы иль камнерезы, покуда солнце отдыхает, они скребут его и трут, и пыль сметают, чтоб днем сияло ярче.

Из пыли сей, суть злата, куют оправы, а из звезд погасших, кои остаются в чаше, суть самоцветов, режут камни и вставляют – творят очелья, ожерелья и перстни, и подвески красы невиданной. А жены их огромными гребнями расчесывают волосы светилу и, начесав куделек, прядут потом и ткнут паволоки из солнечного злата. Коль месяцу расчешут голову, прядут серебряную нить. Из полотна сего сошьют рубахи: ткань тонкая, в кольцо проходит, а когда наденешь – и носко, и не марко, и зимой тепло.

Послушав притчу, боярыня смолчала, но Ванечка на исповеди – безгрешная душа! – поведал сам все Аввакуму, и осерчавший духовник велел услать Агнею прочь от себя, мол, сказки нянькины – скверна и ересь, и крамола. К Ивану след не бабок приставлять с их притчами дурными, а матушку Меланью, чтоб укрепила дух, молиться научила.

Пришлось услать...

Час минул, прежде чем за дверью, в переходе, раздался стук клюки. Агнею привели вдовичицы – суть приживалки, коих приютит и принял на прокорм еще покойный деверь. На лавку няню усадив, они в тот миг же повалились в ноги.

– Кормилица! Помилуй! Все злые языки! И годы уж не те, чтоб приживать детишек!..

Агнея не состарилась, поелику у старости тоже был край. Разве что суше стала, костистей и, показалось в первый миг, слепой. Взор мимо проскользил и замер на огоньке свечи...

– Храни Господь, – боярыня склонилась. – Здоровая ль, нянюшка? Я тосковала...

Она молчала, зато вдовицы суетились и били лбы.

– Помилуй, государыня! Не виноваты! Офелий же, Григорьев сын, к нам ласков был, не обижал! Ну, было иногда, щипнет или подол поднимет... Не для греха – потехи ради!

– Ступайте, будет! – застрожилась она. – И не трещите тут! Завтра ответите... Прочь от меня, лукавые!

Перед отсылкой нянюшки, Скорбящая ей воздала с лихвой – на двух подводах уезжала, везла подарки для детей, внуков и правнуков. Самой же наложила большой сундук добра, чтобы нужды не знала до самой смерти. Все со своего плеча дала, рубахи, платья, платки и шали, и обувь разную – в боярские одежды нарядила. Должно быть, сродник все отнял и рухлядью сей одарил вдовиц, а те не ведали, откуда есть добро и заявили в сарафанах няни. Зато саму одели в тряпье, лежалое и тронутое тленом, разве что лапти новые, немятые, со скрипом...

Прогнав распутниц, боярыня пред няней на колени, облобызала руки, к ланитам их прижала.

– Ужель не зришь, кто я? Или забыла?.. Взгляни же, нянюшка! Не чаяла уж свидеться... Узнала?

Едва вдовицы за порог, Агнея плат сняла, кокошник золоченый и, распустив волосы, стала плести косу. Взор потеплел, очистился, и слепота сошла.

- Да как же не узнала?..
- Поклон тебе от Евдокии. Ты помнишь Дунюшку? Обеих нас кормила...
- Как же не помнить? Помню!.. А кто она?
- Сестра моя!.. Ну, Евдокия? Да замуж вышла за Петра? Урусова? Ты ж еще ругалась: почто татарину отдали красу сию – Дуняшу?
- Ах да, ну, помню, – как будто спохватилась няня. – И верно, почто татарину отдали? Погубит он ее, живой посадит в яму.
- Постой, кормилица... Как страшна речь твоя! Сдается, не признала... Позри, позри – кто я?
- Сестреница моя.
- Скорбящая чуть отстранилась и нянюшкины руки отпустила.
- Агнея, Бог с тобой... Я Феодосья! Ты нянчила меня и Евдокию, вскормила нас... Ужель не помнишь?
- Она главою покачала, вздохнула тяжело:
- Совсем плохая стала... Я много старше, а в уме. Какая Феодосья, коль Федора? Федорой от рожденья звали, с сим именем умрешь... Ну да, а грудью я кормила, и посему в душе твоей частица моей плоти. И коль ее не растеряла, послушаешь меня и так поступишь, как я скажу. Не то ведь смерть тебе придет... Да не печалься! Сие не скоро будет. Ты мыслишь над людьми своими суд учинить, а того не знаешь, что завтра приключится.
- И что же приключится? – с опаскою спросила и поднялась с колен.
- Сосватают тебя. Эвон как расцвела, да и летами вышла – пора!
- Ах, нянюшка... Ужели ты не помнишь мою свадьбу? Я ныне уж вдова, мой государь-свет Глеб Иванович семь лет тому почил...
- Довольно уж болтать, октись! – Челю нахмурила. – Невеста уж, а как дитя... Сегодня же смотрины были! Ты жениху понравилась, инно бы знак не подал. Коль приняла сей знак, знать и тебе пришелся...
- Знак? – Скорбящей стало знобко. – О, Боже Правый... Не принимала знака. И смотри...
- Ну, девушка! Да ты вконец ослепла и разум растеряла! А шапка? Соболья, с красным верхом да шелковым подкладом?
- Боярыня сломалась.
- О, Господи! Святая Матерь!.. Я шапку приняла.
- Вот и добро. Как завтра обручитесь, так я домой пойду. – Агнея встала. – Давно домой пора, но с миром сим все как-то не сочтусь. Покуда прощевай. Не думай боле, не терзайся, а почивать ложись.
- Кто мой жених? Кто всадник тот?
- А князь, сестреница. Боярин Вячеславов.
- Как его имя?
- В миру Василий, – и дверь клюкой толкнула. – Послушай мой совет. Какой бы ни был дар, уйми и норы свой, и предрассудки – прими, не прекословь. Инно ведь кровь прольется! Свеча пред образами полыхнула, и огонек ей поклонился вслед...

## 6

Хоть привели, как вора, на веревках, однако на подворье сняли железа и не под землю сунули – в палаты посадили и принесли еды. Тишайший помнил протопопа и благоволил, не то б Елагин показал свой нрав. Всех беглых сразу при поимке пороли насмерть, а кто выживал, много недель держали в яме, клеймили щеки, лоб и отправляли в монастырь, на цепь. Царь же щадил его и не затем, чтоб вразумить иль милостью своею приручить, заставить кукишем молиться. Давно Пилат изведal, что жаждет Аввакум – каленого железа, встряски, пыток, мук принародных и смерти на миру. Дабы была причина крикнуть:

– Позрите, православные! Да разве се по-христиански – так человека мучить?

Он жаждал мук и потому бежал и много хитростей придумал, чтоб разозлить царя и его придворных – суть, палачей. Теперь же, по воле Божьей получив Евангелие Матфея, крупицу от Приданого, он путь позрел, указанный Всевышним – лишить антихриста святыни! Отнять источник животворный, чтобы спасти его, надежно спрятать и уберечь до тех времен, когда на Русь вернется православный царь, а с ним и право называться Третий Рим. Но чтоб пройти сей путь, нужны были иные и подвиги, и жертвы: супротив них каленое железо и дыба – сущий пустяк. От телесной боли страдает плоть, а от притворства, фарисейства, змейства душа изъязвится.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.